
ЧУДО
РОЖДЕСТВА
Рассказы
русских
писателей
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Чудо Рождества. Рассказы русских писателей

Антон Павлович Чехов, Николай Александрович Лейкин, Иван Сергеевич Шмелев, Лев Николаевич Толстой, Иван Алексеевич Бунин, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Алла С. Степанова

Аннотация
Чудо Рождества. Рассказы русских писателей
Лев Толстой. Где любовь, там и Бог
Федор Достоевский. Мальчик у Христа на елке
Николай Лесков. Жемчужное ожерелье
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
Под Рождество обидели
Михаил Салтыков-Щедрин. Рождественская сказка
Антон Чехов
  Ванька

Сапожник и нечистая сила
Мороз
Николай Лейкин
В департаменте
На святках
Александр Куприн
Тапер
Исполины
Леонид Андреев. Ангелочек
I
II
III
Аркадий Аверченко
Большое сердце
Тайна зеленого сундука
Инквизиция
Иван Бунин
Святые
Ида
Саша Черный. Самое страшное
Иван Шмелев. Из книги «Лето Господне»
Рождество
Святки
Птицы Божьи
Обед «для разных»
Круг царя Соломона

Крещенье

Аннотация

Рождество Христово, открывающее Святки, – один из самых главных русских календарных праздников. Это удивительное время, когда один год приходит на смену другому, наполнено надеждой на то, что все горести остались позади, а в будущем восторжествуют добро и справедливость. Верой в чудо проникнуты произведения русских классиков XIX – начала XX века, объединенные в этой книге. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, Н. А. Лейкин, А. И. Куприн и др., создав лучшие образцы жанра рождественского рассказа, запечатлели атмосферу и традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной России – в больших городах и деревнях, в роскошных особняках и домах бедняков. В произведениях писателей-эмигрантов, Ивана Бунина, Саши Черного, Ивана Шмелева, ощущается ностальгия по ушедшей эпохе: воспоминания о рождественских праздниках неотделимы от воспоминаний о былой России.

В оформлении сборника использованы

старинные открытки и иллюстрации из периодической печати конца XIX – начала XX века. Книга адресована самой широкой читательской аудитории и станет прекрасным подарком к Новому году и Рождеству.

Чудо Рождества
Рассказы русских писателей

© Оформление, составление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука ®

Лев Толстой
Где любовь, там и Бог

Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околотке не побывала и раз, и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик — трех годов. Дети

у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал Бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у Бога смерти и укорял Бога за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок — уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.

— И жить, — говорит, — божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном Бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.

И сказал ему старичок:

— Нехорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть, а тебе

— жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.

— А для чего же жить-то? — спросил Мартын.

И старичок сказал:

— Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.

Помолчал Мартын и говорит:

— А как же для Бога жить-то?

И сказал старичок:

— А жить как для Бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для Бога жить. Там все показано.

И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый Завет крупной печати и стал читать.

Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет и как надо для Бога жить; и все легче и легче ему станови-

лось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе, слава тебе, Господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет, и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.

Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Прочел и дальше те стихи, где Господь гово-

рит:

«Что вы зовете меня: Господи, Господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его — потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».

Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой:

— Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как Бог велит, а рассеешься — и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне, Господи!

Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына

вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости, и прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать:


Съ Рождествомъ Христовымъ!

«И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал; а она миром помазала мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: *«Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал...»*

И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался.

«Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам Господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?»

И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал.

— Мартын! — вдруг как задышало что-то у него над ухом.

Встрепенулся Мартын спросонок:

— Кто тут?

Повернулся он, взглянул на дверь — никого. Прикорнул он опять. Вдруг явственно слышит:

— Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду.

Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам, во сне или наяву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать.

Наутро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое: то думает — померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. «Что ж, — думает, — бывало и это».

Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном старый солдат николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу.

— Вишь, одурел, видно, я со старости, — сам на себя посмеялся Авдеич. — Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч.

Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит, Степаныч прислонил лопату к стене и сам не то греется, не то отдыхает.

Человек старый, ломаный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь.

— Войди, погрейся, что ль, — сказал он. — Озяб, чай.

— Спаси Христос, и то — кости ломят, — сказал Степаныч.

Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается.

— Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись, — сказал Авдеич. — Вот чайку выпей.

И Авдеич налил два стакана и подвинул один

гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть.

Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется.

— Кушай еще, — сказал Авдеич и налил еще стакан и себе, и гостю.

Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает.

— Али ждешь кого? — спросил гость.

— Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, а запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой, читал я вчера Евангелие про Христа-батюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай?

— Слыхать слыхал, — отвечал Степаныч, — да мы люди темные, грамоте не знаем.

— Ну вот, читал я про самое то, как он по земле ходил, читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал: как Христа-батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец

ты мой, и слышу, по имени кличет; поднялся я, голос, ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову — сам себя браню и все жду его, батюшку.

Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, но Авдеич опять поднял стакан и налил еще.

— Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил, учеников-то набирал все больше из нашего брата, таких же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, Господом называете, а я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые.

Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся.

— Ну, кушай еще, — сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал.

— Спасибо тебе, — говорит, — Мартын Авдеич,

угостил ты меня, и душу, и тело насытил.

— Милости просим, заходи другой раз, рад гостю, — сказал Авдеич.

Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу — строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно — Христа ждет, все о нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные.

Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в чищеных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли, и вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеич, видит: женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул:

— Умница! а умница! — Женщина услыхала и обернулась. — Что же так на холоду с ребеночком

стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот.

Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним.

Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати.



— Сюда, — говорит, — садись, умница, к печке

ближе — погреешься и покормишь младенца-то.

— Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела, — сказала женщина, а все-таки взяла к груди ребенка.

Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил.

— Садись, — говорит, — покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были — умею с ними нянчиться.

Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила.

— Я, — говорит, — солдатка, мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий

месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилицы — не берут: худа, говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала, совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его, сердечного, замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас за-ради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить.

Воздохнул Авдеич и говорит:

— А одежи-то теплой али нет?

— Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила.

Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку.

— На, — говорит, — хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть.

Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины.

И сказала женщина:

— Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено

завернуло. И наставил же он, батюшка, тебя в окно поглядеть и меня, горькую, пожалеть.

Усмехнулся Авдеич и говорит:

— И то он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу.

И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь прийти к нему.

— Все может быть, — сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича.

— Прими, ради Христа, — сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину.

Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного.

И вот видит Авдеич: против самого его окна остановилась старуха-торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок; захо-

тела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается.

— Я, — говорит, — не брал, за что бьешь, пусти.

Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит:

— Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа!

— Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу.

Стал Авдеич упрашивать старуху.

— Пусти, — говорит, — бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа!

Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но

Авдеич придержал его.

— Проси, — говорит, — у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял.

Заплакал мальчик, стал просить прощенья.

— Ну вот так. А теперь яблоко на, вот тебе.

И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику.

— Заплачу, бабушка, — сказал он старухе.

— Набалуешь ты их так, мерзавцев, — сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился.

— Эх, бабушка, бабушка, — сказал Авдеич. — По-нашему-то так, а по-божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо?

Замолчала старуха.

И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял слушал.

— Бог велел прощать, — сказал Авдеич, — а то и нам не простится. Всем прощать, а несмысленному-то и поготово.

Покачала головой старуха и вздохнула.

— Так-то так, — сказала старуха, — да уж очень набаловались они.

— Так нам, старикам, и учить их, — сказал

Авдеич.

— Так и я говорю, — сказала старуха. — У меня самой их семеро было, — одна дочь осталась.

И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат.

— Вот, — говорит, — сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная… — И совсем размякла старуха.

— Известно, дело ребячье. Бог с ним, — сказала старуха на мальчика.

Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит:

— Дай я снесу, бабушка, мне по дороге. — Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика.

И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили.

Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и видит: фонарщик

прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать», — подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки, и концы, и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу — стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос:


Къ Празднику Рождества Христова!
Елиз. Бем

— Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня?

— Кого? — проговорил Авдеич.

— Меня, — сказал голос. — Ведь это я.

И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его…

— И это я, — сказал голос.

И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали.

— И это я, — сказал голос.

И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали.

И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие там, где открылось. И наверху страницы он прочел:

— И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня…

И внизу страницы прочел еще:

— Так как вы сделали это одному из сих братии моих меньших, то сделали мне (Матфея 25-я глава).

И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день Спаситель его и что точно он принял его.


РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПРАЗДНИКЪ
НАРОДНЫЯ ЗАБАВЫ
СВѢТОЧНЫЯ ВЕСЕЛЕНІЯ
НОВАГО ГОДА



Федор Достоевский
Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись,

дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел до подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.


Съ Рождествомъ
Христовымъ!

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется, — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.



Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются, и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а

сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатил-

ся мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху, и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют

его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это Христова елка, — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников; другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении; третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода); четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду; и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им

слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.



Николай Лесков
Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе — о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается и наблюдать ему нечего и некогда — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ — вде-

сятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь, и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но не прав, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.

— Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец

— чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает не много, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланость и однообразие.

— Ну, я не совсем с вами согласен, — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать. — Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы.

— Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

— А что же? Я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните,

что он должен быть *истинное происшествие*!

— О, будьте уверены — я расскажу вам происшествие самое истиннейшее и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристает: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции — хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну да постой же, — говорим, — все это прекрасно, и пусть будет по-твоему — Господь тебя благослови, — женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

— Что же — времени довольно: две недели Святок венчаться нельзя — вы меня в это время сосватайте, а на Крещенье вечерком мы обвен-

чаемся и уедем.

— Э, — говорю, — да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки. (Сло́ва «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, — говорю, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело.

Жена говорит мне:

— У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и, пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать — жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

— Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

— Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

— Что это такое я уважал?

— Безотчетные симпатии, влечения сердца.

— Ну, — говорю, — матушка, меня на это не

подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это — что такое… в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая и есть, как ты говоришь, — девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

— Как! — воскликнул я, — так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

— Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь ведь — это по нашему женскому ведомству, мы ее замечаем и видим в самом зародыше.


Съ Рождествомъ
Христовымъ!

— Вы, — говорю, — все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет — это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

— А я ничего, — говорит, — не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой — прекрасный человек, и Маша — премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

— Как! — закричал я, себя не помня, — они уже и слово друг другу дали?

— Да, — отвечает жена, — это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним — он, наверно, понравится старикам, и потом…

— Что же, что потом?

— Потом — пускай как знают; ты только не мешайся.

— Хорошо, — говорю, — хорошо, очень рад в подобную глупость не мешаться.

— Глупости никакой не будет.

— Прекрасно.

— А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

— Очень рад! Только не мешает, — говорю, — моему братцу и тебе знать и помнить, что отец

Машеньки — всем известный богатый сквалыжник.

— Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

— Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал — и Маше ничего не даст.

— Почем это знать? Он ее больше всех любит.

— Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя — он на том стоит и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и подавно оставит на бобах.

— То есть как это, — говорит, — на бобах?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нет, не дурачусь.

— Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке — вот и вся недолга.

— Ах вот это-то!

— Ну конечно.

— Конечно, конечно! Это быть может, но только я, — говорит, — никогда не думала, что по-твоему — получить путную жену, хотя бы и без приданого, — это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас — в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок…

— Я говорю вовсе не о себе…

— Нет, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère![1]

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

— Ну, думал.

— Нет — совсем и не думал.

— Ну, воображал.

---

[1] Примечания: 1

Моя дорогая *(фр.)*.

— Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу.

— И «черти»... «черт»... Что это такое?

— Да потому, что ты меня из терпения выводишь.

— Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав — как бог, окончил — как свинья». Я принял обиженный вид, потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения, снова отворил дверь и сказал:

— Это свинство!

А она отвечает:

— Merci, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает, что за сцена! И не забудьте — это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно — и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи — в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться… Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с нею, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой… И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти…

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни

во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены…

Подкупающая это вещь — носильное удобное платье, сработанное мужу женины руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

— Прости меня, мой ангел, что ты меня наконец вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю — в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Где же барыня?

— А они, — отвечает, — уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! — думаю. — Значит, она своего упорства не оставляет, она таки хочет женить брата на Машеньке… Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул

своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат — воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, пусть он их надует — и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые.

Жена говорит мне:

— Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

— Нет, — говорю, — покорно благодарю.

— Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

— Вот как!

— Да, мы превесело провели время и шампанское пили.

— Счастливцы! — говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там женихов-ский рученец кончится, а потом — быть бычку

на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы — во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невесте, — объяснила мне моя жена.

— Ага! так вот уже как! Поздравляю.

— Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с

тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, — говорю, — незачем было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острю.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

— Конечно, — говорю, — уж если ты ручаешься, то будут… Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать — вернее.

— А что же, — отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, — ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

— Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

— Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Как вру?!

— Врешь, потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебе понравилась.

— Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

— Нимало — достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

— Однако же, — говорю, — я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

— Чтобы смотреть на меня.

— Неправда — я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.



— Что за пустой смех!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.

— Это почему?

— Сказать?

— Сделай милость, скажи!

— Потому, что ты был в меня влюблен.

— Пусть так, но это мне не мешало видеть твои

душевные свойства.

— Мешало.

— Нет, не мешало.

— Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее *смотрите с рассуждением*, а на самом деле вы только *глазеете с воображением*.

— Ну… однако, — говорю, — ты уж это как-то… очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

— Полно думать, — худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

— Очень рад, — говорю. И поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этаком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей — и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«О-го-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, — назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать, мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это — вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения,

и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

— Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста avec flèches d'Amour[2], но тем не мене я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали…

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

— Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу

---

[2] Примечания: 2
Со стрелами Амура *(фр.).*

рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод — d'eau douce[3], тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила perle d'eau douce, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего avec flèches d'Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего…

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

---

[3] Примечания: 3
Из пресных вод *(фр.)*.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас, весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

— Что же такое еще с тобою случилось?

— А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

— Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

— Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг *фальшивый*».

Жена моя так и села.

— Вот, — говорит, — негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

— Ты не права: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся… Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей — не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива… Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, — говорит, — зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами… Это против всех обычаев… мило и дорого».

«Ну что, — отвечает, — за счеты! Мы свои. Я был у обедни, помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» — спрашивает.

«Как же, — говорю, — получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, — говорит, — ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет — смотри, смотри!

Я взял стекло и вижу — на замке, на самом

скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, — говорит, — что это действительно жемчуг *фальшивый*?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается и вас только буду об одном просить…»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так…»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да — это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное — муж…»

«Никогда, — говорю, — сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а

к мужу — другая, и кроме того... муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее — они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

— Неужели, — говорю, — все это твоей жене?

— Нет, — отвечает, — он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, — это будет щекотливо… Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее — нет… Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь… Нет, бог с ними, оставьте у себя эти деньги и… когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите *всем* поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость… А одним нам… *не надо*!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, — говорит, — тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно хочу, папа, и… надеюсь».

«Хорошо… Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я *придам*: я тебе хочу прибавить счастья. — Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама — скажи, что ты *даришь*…»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом

вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю — и он заплакал.

«Встань, встань! — говорит. — Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ — тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива… за сестер!..»

«То-то и есть… И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе *жемчуг — фальшивый*, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, — не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да *истинной*: такого надуть невозможно — душа не стерпит!»

— Вот вам весь мой рассказ, — заключил собеседник, — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.

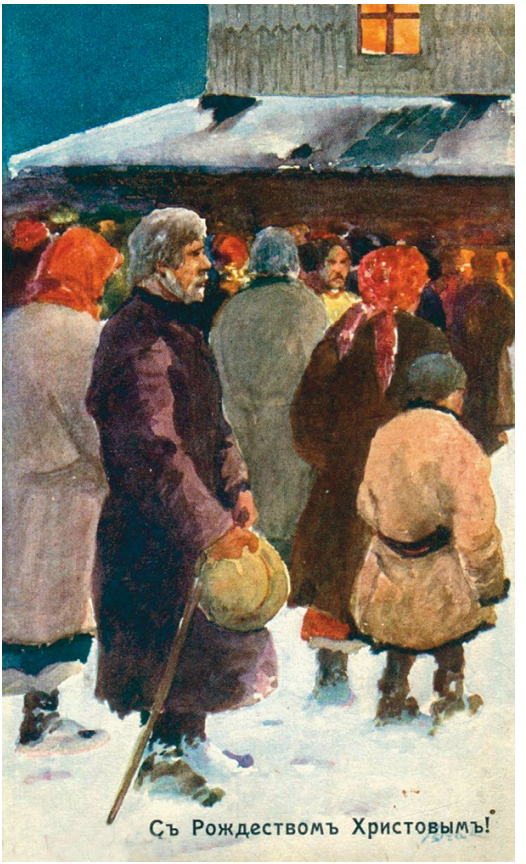


Под Рождество обидели

(Житейские случаи)

На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого — человека, которого знает множество людей в Петербурге, — под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.

Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, — это все равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде.


Съ Рождествомъ Христовымъ!

Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся — какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскучается слуга от нечего делать и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется.

Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит.

Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться, и, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под

Рождество случилась большая обида.

Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьею над ворами, и вот что об этом рассказывают.

Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная, и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самою крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться.

А воры как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра — и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон — всего набито от потолка до самого до полу… Как смелому вору такое дело бросить?

Вот воры и придумали смелую штуку.

Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:

— Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов — он еще маленький и тельцем мягок, — он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем — мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество — скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опоясшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распоясшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется — мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли и от нас ему сладких закусочек — пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится.

Отец-то вор хорош, видно, был — не отказался от этого, а согласился; и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене:

— Я ноне пообещался сходить в монастырь ко всенощной — там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму — пусть хорошее пение послушает.

Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они все вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят — им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего.

Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:

— Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.

Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:

— Довольно брать, больше не надобно… Теперь сам себя крепче подпояшь, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.

Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг — чего они впотьмах не заметили — веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры, от этой неожиданности потерявши равновесие, и сами попадали… Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай… Сейчас все люди проснутся и выскочат, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалося время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене — и тогда непременно воров изловят с поликою.

Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой

беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.

Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу, и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой…

И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилося, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые — шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной вроде щипцов с петелькою — называлась «кобылкою». (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был — умный, добрый, и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:

— Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.

А молодцы говорят:

— То и есть правда: нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил. Это перст видимый: по нем все укажется, каких он родителей, — тогда все и объявится.

А купец говорит:

— Нет, не так: дитя — молодая душа неповинная, он не добром в соблазн введен — его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя — Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой… познобившись весь, да и трясется, испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика… Бог с ним со всем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.

И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили.

А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта как вместе росла с воровским

сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:

— Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.

Жена отвечает:

— Это правда, так всегда уже водится.

— То-то и есть, — говорит купец, — еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.



— Как же так? — говорит жена.

— А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь, что греха таить, вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.

Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили и тоже детей нажили и сами тоже соста-

рились. А жили все в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу — тогда уже старику — сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздалися рыдания.

Председатель суда спрашивает:

— Скажите, что с вами?

А он отвечает:

— Отпустите меня, я не могу людей судить.

— Почему? — говорят. — Это круговой закон: правым должно судить виноватого.

А он отвечает:

— А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать.

Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлою неосужденною виною, — все к нему относились

с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал.

Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души.

— Утешаться надо, — говорю, — что такое добро в людях есть.

— Да, — отвечает приятель, — хорошо утешаться, а еще лучше того — надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.

Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилося, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается.

Приходит ко мне мой приятель и говорит:

— Дело сделано.

— Какое?

— У меня неприятности.

Думаю: верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.

— Нет, — говорит, — неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась… Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит

и все высыпано… золотая цепочка валяется и еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны и билет на могилу рядом с матерью…

Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления.

— Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение.

Точно на экзамен его вызвали:

— Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий?

Присел я молча и спрашиваю:

— Что же вы сделали?

— Да ничего, — отвечает, — покуда еще не сделал, да не знаю и делать ли? Говорят, надо явку подавать…

И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде — как советовать? Пропало не мое, а его добро — чужую обиду легко прощать…

— Нет, — говорю, — я советовать не могу, а если

хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилося.

Он говорит: пожалуйста, расскажите.

Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилося.

Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжелая. Так, бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку — идучи все ее с плеч спускать и оттого скоро обил в ней подол. Утром в Рождественский сочельник служанка говорит мне:

— Шуба подбилася: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть — очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет.

Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом, своему знакомому портнишке.

А сочельник пришел с оттепелью, капели капали: вечером мне шуба не понадобилась — в пальто было впору.

Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение: дворник бледный и испуганный, не с праздником

поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал… Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал.

Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет… Жена у него осталась с двумя детьми — один лет трех, а другой грудной… Бедность, говорят, ужасающая: и женщина, и дети страшные, испитые, жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается… Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли… Пропал портнишка, как в воду канул… Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе Великого поста прибегает ко мне дворник… весь впопыхах и лепечет скороговоркою:

— Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел… подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа… Сейчас разбор дела будет… скорее, пожалуйста… подтвердить надо… ваша шуба пропала.

Я поехал… Смотрю, действительно, сторож

бережет какого-то человека худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские — колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках — починить некому и общий вид какой-то полумертвый.

Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила?

Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи — определить не могу; может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы.

Судья стал допрашивать портного — тот сразу же во всем повинился: «Я, — говорит, — ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить... На грех, дворника дома не было и дверь была заперта, а господина я не знал по фамилии, ни где живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу, а на взятые под залог деньги купил чайку-сахарцу, пивка-водочки, а потом утром испугался, и убежал, и последние деньги пропил и с тех пор все путался». А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может.

— Виноват, пропала шуба.

— А сколько, по-вашему, шуба стоила?

Портной не стал вилять и говорит:

— Шуба была хорошая.

— Да сколько же именно она могла стоить?

— Шуба ценная…

— Сто рублей она могла, например, стоить?

Портной себя превосходит в великодушии.

— Больше, — говорит, — могла стоить.

— И полтораста стоила?

— Стоила.

Словом — молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит.

Судья и зачитал: «по указу», и определил портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом чтобы он мне за шубу деньги заплатил.

Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего.

Я пошел домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завыли в три голоса.

Чего еще надобно?

Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски называли «комчугою». Верно ей дано это название! Днем эта болезнь еще и так и сяк — терпеть можно, а как ночь придет, так она начинает «комчить», и нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то невесть что припоми-

нается и представляется, и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми… Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и детьми-то что делается?.. И при нем-то им было худо, а теперь, небось, беде уж и меры нет… А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда этот портнишка заплатить-то не может, да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только «сумой пахнуть»…

Никогда я этого донимать не стану…

А зачем же была эта явка-то подана?

И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать: жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается?

Дворник узнал и говорит: «Ее присуждено выселить и как раз их сегодня выгоняют: за ними за угол набралось уже шесть рублей».

— Вот те мне, и ахти мне!

А «комчуга» ночью спать не дает и в лица перекидается: задремишь от усталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам, как по болвашке[4], водить… И все водит, все разглаживает да на суставах

[4] Примечания: 4

Болвашка — деревянная портновская колодка, на которой разутюживают. *(Примеч. автора.)*

острым углом налегает…

И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей, не полегчает ли если уж не на теле, то хоть на совести, — потому, так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата.

Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей… А сама вся в лохмотьях, и дети голые…

Дал им еще три рубля…

А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом… и зачем это я только наделал?..

Рассердишься и начинаешь думать: а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать? Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла… Портному еще полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз, а к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию… Ну, по силам своим и увеличил, да жена его о себе иначе понимать стала, и на меня недовольна и сердится:

— Кормильца нашего, — говорит, — оковал: что я с детьми теперь сделаю. Ты нас убил — тебя Бог убьет.

И смешно, и досадно, и жалко, и совестно: несравненно бы лучше было, если бы моя шуба

с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее: а теперь, если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей, корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты, небось, за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком…

Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе все противное… Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже чем чужую шубу снес… И никак от этого не избавиться…

И вот под самую Пасху все пошли к утрене, а я больной остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов… Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своею кончиною он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл «праведником», а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас, бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет: он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он

ни о чем не тужил и про все всегда говорил весело, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался:

— Ну так что ж!

— А вы бы, Иван Иванович, жаловались.

А он отвечает:

— Вот тебе еще что ж!

— А помрешь с голоду?

— Ну так что ж!

— И схоронить будет некому.

— Вот тебе еще что ж!

Говорили, он глуп.

А он не был глуп: он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал.

— Точно, — говорит, — будто я тепленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется.

И так и не встал с кресла, а взял да и умер, и мы его схоронили.

Ведь такой человек очевидно знал, что делал! «В бесстрашной душе ведь Бог живет».

Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать: Пропала! — «Ну, так что ж»... А жаловаться? — «Вот тебе еще что ж!» И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее.

Тут как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове.

— Вот, — говорит, — и я думал, так и я все так и сделаю. Ничего я никому не подам: и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало, и кончено: «Ну так что ж, да и вот тебе еще что ж?»

На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел, но потом досталось мне мучение: в один день довелось мне говорить об этом со многими и ото всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне:

— Это вы глупо обдумали!.. Так только потачка всем… Вы забыли закон!.. Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило.

Читатель! будь ласков, вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный: наказать или помиловать?

Если ты хочешь когда-нибудь «со Христом быть», то ты это должен прямо решить, и как решишь, тому и должен следовать… Может быть, и тебя «под Рождество обидели» и ты это затаил на душе и собираешься отплатить?.. Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет… Это очень возможно, потому что мы

плохо помним, в чем есть настоящее «первое правило»… Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай — с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона или с тем, который дал тебе «глаголы вечной жизни»… Подумай! Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден… Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе: «Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего».

Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.

Михаил Салтыков-Щедрин
Рождественская сказка

Прекраснейшую сегодня проповедь сказал для праздника наш сельский батюшка.

— Много столетий тому назад, — сказал он, — в этот самый день пришла в мир Правда.

Правда извечна. Она прежде всех век восседала с Христом-человеколюбцем одесную отца, вместе с ним воплотилась и возжгла на земле свой светоч. Она стояла у подножия креста и сораспиналась с Христом; она восседала, в виде светозарного ангела, у гроба его и видела его воскресение. И когда человеколюбец вознесся на небо, то оставил на земле Правду как живое свидетельство своего неизменного благоволения к роду человеческому.

С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает нашу совесть, согревает наши сердца, оживляет наш труд, указывает цель, к которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченные сердца находят в ней верное и всегда открытое убежище, в котором они могут

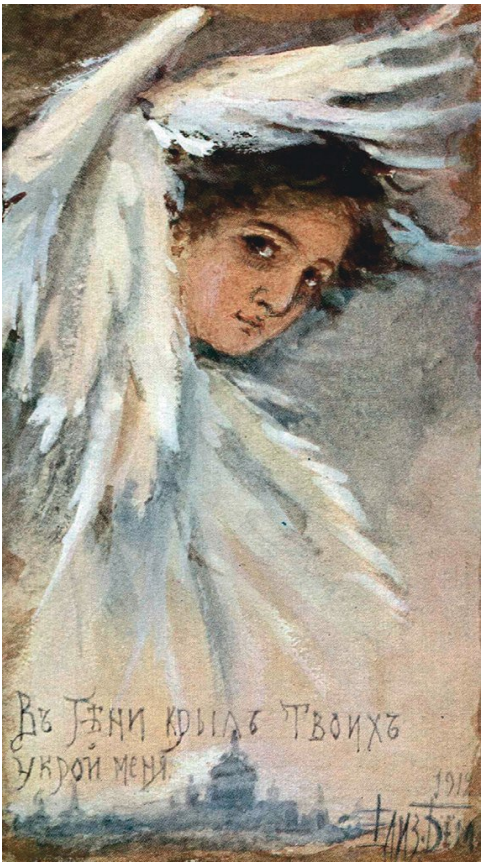
успокоиться и утешиться от случайных волнений жизни.

Неправильно думают те, которые утверждают, что Правда когда-либо скрывала лицо свое или — что еще горше — была когда-либо побеждена Неправдою. Нет, даже в те скорбные минуты, когда недальновидным людям казалось, что торжествует отец лжи, в действительности торжествовала Правда. Она одна не имела временного характера, одна неизменно шла вперед, простирая над миром крыле свои и освещая его присносущим светом своим. Мнимое торжество лжи рассевалось, как тяжкий сон, а Правда продолжала шествие свое.

Вместе с гонимыми и униженными Правда сходила в подземелья и проникала в горные ущелия. Она восходила с праведниками на костры и становилась рядом с ними перед лицом мучителей. Она воздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы малодушия и измены; она учила их страдать всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казни и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить Правду, а, напротив, сообщали ей вящую притя-

гивающую силу. При виде этих казней загорались простые сердца, и в них Правда обретала новую благодарную почву для сеяния. Костры пылали и пожирали тела праведников, но от пламени этих костров возжигалось бесчисленное множество светочей, подобно тому, как в светлую утреню от пламени одной возжженной свечи внезапно освещается весь храм тысячами свечей.

В чем же заключается Правда, о которой я беседую с вами? На этот вопрос отвечает нам евангельская заповедь. Прежде всего, люби Бога и затем люби ближнего, как самого себя. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни.


Въ тѣни крылъ Твоихъ
укрой меня.
1914

Люби Бога — ибо он жизнодавец и человеколюбец, ибо в нем источник добра, нравственной красоты и истины. В нем — Правда. В этом самом храме, где приносится бескровная жертва Богу, — в нем же совершается и непрестанное служение Правде. Все стены его пропитаны Правдой, так что вы — даже худшие из вас, — входя в храм, чувствуете себя умиротворенными и просветленными. Здесь, перед лицом распятого, вы утоляете печали ваши; здесь обретаете покой для смущенных душ ваших. Он был распят ради Правды, лучи которой излились от него на весь мир, — вы ли ослабнете духом перед постигающими вас испытаниями?

Люби ближнего, как самого себя, — такова вторая половина Христовой заповеди. Я не буду говорить о том, что без любви к ближнему невозможно общежитие, — скажу прямо, без оговорок: любовь эта, сама по себе, помимо всяких сторонних соображений есть краса и ликование нашей жизни. Мы должны любить ближнего не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, с готовностью положить душу, подобно тому, как добрый пастырь полагает душу за овец своих.

Мы должны стремиться к ближнему на помощь,

не рассчитывая, возвратит он или не возвратит оказанную ему услугу; мы должны защитить его от невзгод, хотя бы невзгода угрожала поглотить нас самих; мы должны предстательствовать за него перед сильными мира, должны идти за него в бой. Чувство любви к ближнему есть то высшее сокровище, которым обладает только человек и которое отличает его от прочих животных. Без его оживотворяющего духа все дела человеческие мертвы, без него тускнеет и становится непонятною самая цель существования. Только те люди живут полною жизнью, которые пламенеют любовью и самоотвержением; только они одни знают действительные радования жизни.

Итак, будем любить Бога и друг друга — таков смысл человеческой Правды. Будем искать ее и пойдем по стезе ее. Не убоимся козней лжи, но станем до́бре и противопоставим им обретенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будет согревать сердца людей.

Теперь вы возвратитесь в домы ваши и предадитесь веселию о празднике Рождества Господа и человеколюбца. Но и среди веселия вашего не забывайте, что с ним пришла в мир Правда, что она во все дни, часы и минуты присутствует посреди вас и что она представляет собою тот

священный огонь, который освещает и согревает человеческое существование.

Когда батюшка кончил и с клироса раздалось: «Буди имя Господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокий вздох. Точно вся громада молящихся этим вздохом подтверждала: «Да, буди благословенно!»

Но из присутствовавших в церкви всех внимательнее вслушивался в слова отца Павла десятилетний сын мелкой землевладелицы Сережа Русланцев. По временам он даже обнаруживал волнение, глаза его наполнялись слезами, щеки горели и сам он всем корпусом подавался вперед, точно хотел о чем-то спросить.

Марья Сергеевна Русланцева была молодая вдова и имела крохотную усадьбу в самом селе. Во времена крепостной зависимости в селе было до семи помещичьих усадьб, отстоявших в недальнем друг от друга расстоянии. Помещики были мелкопоместные, а Федор Павлыч Русланцев принадлежал к числу самых бедных: у него всего было три крестьянских двора да с десяток дворовых. Но так как его почти постоянно выбирали на разные должности, то служба помогла ему составить небольшой капитал. Когда наступило освобождение, он получил, в качестве мелкопо-

местного, льготный выкуп и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за наделом клочке земли, мог изо дня в день существовать.

Марья Сергеевна вышла за него замуж значительное время спустя после крестьянского освобождения, а через год уже была вдовой. Федор Павлыч осматривал верхом свой лесной участок, лошадь чего-то испугалась, вышибла его из седла, и он расшиб голову об дерево. Через два месяца у молодой вдовы родился сын.

Жила Марья Сергеевна более нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю в кортому крестьянам, а за собой оставила усадьбу с небольшим лоскутком земли, на котором был разведен садик с небольшим огородцем. Весь ее хозяйственный живой инвентарь заключался в одной лошади и трех коровах; вся прислуга — из одной семьи бывших дворовых, состоявшей из ее старой няньки с дочерью и женатым сыном. Нянька присматривала за всем в доме и пестовала маленького Сережу; дочь кухарничала, сын с женою ходили за скотом, за птицей, обрабатывали огород, сад и проч. Жизнь потекла бесшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствия были некупленные, а на покупное почти совсем запроса не существовало.

Домочадцы говорили: «Точно в раю живем!» Сама Марья Сергеевна тоже забыла, что существует на свете иная жизнь (она мельком видела ее из окон института, в котором воспитывалась). Только Сережа по временам тревожил ее. Сначала он рос хорошо, но, приближаясь к семи годам, начал обнаруживать признаки какой-то болезненной впечатлительности.

Это был мальчик понятливый, тихий, но в то же время слабый и болезненный. С семи лет Марья Сергеевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потом, когда мальчик стал приближаться к десяти годам, в ученье принял участие и отец Павел. Предполагалось отдать Сережу в гимназию, а следовательно, требовалось познакомить его хоть с первыми основаниями древних языков. Время близилось, и Марья Сергеевна в большом смущении помышляла о предстоящей разлуке с сыном. Только ценою этой разлуки можно было достигнуть воспитательных целей. Губернский город отстоял далеко, и переселиться туда при шести-, семистах годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела о Сереже переписку с своим родным братом, который жил в губернском городе, занимая невидную должность, и на днях получила письмо, в котором брат

соглашался принять Сережу в свою семью.

По возвращении из церкви, за чаем, Сережа продолжал волноваться.

— Я, мамочка, по правде жить хочу! — повторял он.

— Да, голубчик, в жизни главное — правда, — успокоивала его мать, — только твоя жизнь еще впереди. Дети иначе не живут, да и жить не могут, как по правде.

— Нет, я не так хочу жить; батюшка говорил, что тот, кто по правде живет, должен ближнего от обид защищать. Вот как нужно жить, а я разве так живу? Вот намеднись у Ивана Бедного корову продали — разве я заступился за него? Я только смотрел и плакал.

— Вот в этих слезах и правда твоя детская. Ты и сделать ничего другого не мог. Продали у Ивана Бедного корову по закону, за долг. Закон такой есть, что всякий долги свои уплачивать обязан.

— Иван, мама, не мог заплатить. Он и хотел бы, да не мог. И няня говорит: «Беднее его во всем селе мужика нет». Какая же это правда?

— Повторяю тебе, закон такой есть, и все должны закон исполнять. Ежели люди живут в обществе, то и обязанностями своими не имеют права пренебрегать. Ты лучше об ученье думай — вот

твоя правда. Поступишь в гимназию, будь прилежен, веди себя тихо — это и будет значить, что ты по правде живешь. Не люблю я, когда ты так волнуешься. Что ни увидишь, что ни услышишь — все как-то в сердце тебе западает. Батюшка говорил вообще; в церкви и говорить иначе нельзя, а ты уж к себе применяешь. Молись за ближних — больше этого и Бог с тебя не спросит.

Но Сережа не унялся. Он побежал в кухню, где в это время собрались челядинцы и пили ради праздника чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки с ухватом и то и дело вытаскивала горшок с закипающими жирными щами. Запах прелой убоины и праздничного пирога пропитал весь воздух.

— Я, няня, по правде жить буду! — объявил Сережа.

— Ишь с коих пор собрался! — пошутила старуха.

— Нет, няня, я верное слово себе дал! Умру за правду, а уж неправде не покорюсь!

— Ах, бóлезный мой! ишь ведь что тебе в головку пришло!

— Разве ты не слыхала, что в церкви батюшка говорил? За правду жизнь полагать надо — вот что! в бой за правду идти всякий должен!

— Известно, что же в церкви и говорить! На то и церковь дана, чтобы в ней об праведных делах слушать. Только ты, миленький, слушать слушай, а умом тоже раскидывай!

— С правдой-то жить оглядываючись надо, — резонно молвил работник Григорий.

— Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? разве это правда? — горячился Сережа.

— Правда не правда, а так испокон века идет. Мы люди простецкие, нам и на кухне хорошо. Кабы все-то в столовую пошли, так и комнат не наготовиться бы.

— Ты, Сергей Федорыч, вот что! — вновь вступился Григорий. — Когда будешь большой — где хочешь сиди: хошь в столовой, хошь в кухне. А покедова мал, сиди с мамашенькой — лучше этой правды по своим годам не сыщешь! Придет ужо батюшка обедать, и он тебе то же скажет. Мы мало ли что делаем: и за скотиной ходим, и в земле роемся, а господам этого не приходится. Так-то!

— Да ведь это же неправда и есть!

— А по-нашему так: коли господа добрые, жалостливые — это их правда. А коли мы, рабочие, усердно господам служим, не обманываем, стараемся — это наша правда. Спасибо и на том, ежели

всякий свою правду наблюдает.

Наступило минутное молчание. Сережа, видимо, хотел что-то возразить, но доводы Григория были так добродушны, что он поколебался.

— В нашей стороне, — первая прервала молчание няня, — откуда мы с маменькой твоей приехали, жил помещик Рассошников. Сначала жил, как и прочие, и вдруг захотел по правде жить. И что ж он под конец сделал? Продал имение, деньги нищим роздал, а сам ушел в странствие… С тех пор его и не видели.

— Ах, няня! вот это какой человек!

— А между прочим, у него сын в Петербурге в полку служил, — прибавила няня.

— Отец имение роздал, а сын ни при чем остался… Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская правда? — рассудил Григорий.

— А сын разве не понял, что отец по правде поступил? — вступился Сережа.

— То-то, что не слишком он это понял, а тоже пытал хлопотать. Зачем же, — говорит, — он в полк меня определил, коли мне теперь содержать себя нечем?

— В полк определил… содержать себя нечем… — машинально повторял за Григорием Сережа, запутываясь среди этих сопоставлений.

— И у меня один случай на памяти есть, — продолжал Григорий, — занялся от этого самого Рассошникова у нас на селе мужичок один — Мартыном прозывался. Тоже все деньги, какие были, роздал нищим, оставил только хатку для семьи, а сам надел через плечо суму, да и ушел крадучись ночью куда глаза глядят. Только, слышь, пачпорт позабыл выправить — его через месяц и выслали по этапу домой.

— За что? разве он худое что-нибудь сделал? — возразил Сережа.

— Худое не худое, я не об этом говорю, а об том, что по правде жить оглядываючись надо. Без пачпорта ходить не позволяется — вот и вся недолга. Этак все разбредутся, работу бросят — и отбою от них, от бродяг, не будет…

Чай кончился. Все встали из-за стола и помолились.

— Ну, теперь мы обедать будем, — сказала няня, — ступай, голубчик, к маменьке, посиди с ней; скоро, поди, и батюшка с матушкой придут.

Действительно, около двух часов пришел отец Павел с женою.

— Я, батюшка, по правде жить буду! Я за правду на бой пойду! — приветствовал гостей Сережа.

— Вот так вояка выискался! от земли не видать,

а уж на бой собрался! — пошутил батюшка.

— Надоел он мне. С утра все об одном и том же говорит, — сказала Марья Сергеевна.

— Ничего, сударыня. Поговорит и забудет.

— Нет, не забуду! — настаивал Сережа. — Вы сами давеча говорили, что нужно по правде жить… в церкви говорили!

— На то и церковь установлена, чтобы в ней о правде возвещать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню, так церковь сама о правде напомнит. И помимо меня всякое слово, которое в ней произносится, — правда; одни ожесточенные сердца могут оставаться глухими к ней…

— В церкви? а жить?

— И жить по правде следует. Вот когда ты в меру возраста придешь, тогда и правду в полном объеме поймешь, а покуда достаточно с тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, к старшим почтение имей, учись прилежно, веди себя скромно — вот твоя правда.

— Да ведь мученики… вы сами давеча говорили…

— Были и мученики. За правду и поношение следует принять. Только время для тебя думать об этом не приспело. А притом же и то сказать:

тогда было время, а теперь другое, правда приумножилась — и мучеников не стало.

— Мученики… костры… — лепетал Сережа в смущении.

— Довольно! — нетерпеливо прикрикнула на него Марья Сергеевна.

Сережа умолк, но весь обед оставался задумчив. За обедом велись обыденные разговоры о деревенских делах. Рассказы шли за рассказами, и не всегда из них явствовало, чтобы правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни правды, ни неправды, а была обыкновенная жизнь, в тех формах и с тою подкладкою, к которым все искони привыкли. Сережа бесчисленное множество раз слыхал эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но в этот день в его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.

— Кушай! — заставляла его мать, видя, что он почти совсем не ест.

— In corpore sano mens sana[5], — с своей стороны прибавил батюшка. — Слушайся маменьки — этим лучше всего свою любовь к правде докажешь. Любить правду должно, но мучеником

---

[5] Примечания: 5

В здоровом теле здоровый дух *(лат.)*.

себя без причины воображать — это уже тщеславие, суетность.

Новое упоминовение о правде встревожило Сережу, он наклонился к тарелке и старался есть, но вдруг зарыдал. Все всхлопотались и окружили его.

— Головка болит? — допытывалась Марья Сергеевна.

— Болит, — ответил он слабым голосом.

— Ну, поди ляг в постельку. Няня, уложи его!

Его увели. Обед на несколько минут прервался, потому что Марья Сергеевна не выдержала и ушла вслед за няней. Наконец обе возвратились и объявили, что Сережа заснул.

— Ничего, уснет — и пройдет! — успокоивал Марью Сергеевну отец Павел.

В вечеру, однако ж, головная боль не только не унялась, но открылся жар. Сережа тревожно вставал ночью в постели и все шарил руками около себя, точно чего-то искал.

— Мартын… по этапу за правду… что такое? — лепетал он бессвязно.

— Какого он Мартына поминает? — недоумевая, обращалась Марья Сергеевна к няне.

— А помните, у нас на селе мужичок был, ушел из дому Христовым именем… Давеча Григорий

при Сереже рассказывал.

— Все-то вы глупости рассказываете! — рассердилась Марья Сергеевна. — Совсем нельзя к вам мальчика пускать.

На другой день, после ранней обедни, батюшка вызвался съездить в город за лекарем. Город отстоял в сорока верстах, так что нельзя было ждать приезда лекаря раньше как к ночи. Да и лекарь, признаться, был старенький, плохой; никаких других средств не употреблял, кроме оподельдока, который он прописывал и снаружи, и внутрь. В городе об нем говорили: «В медицину не верит, а в оподельдок верит».



Ночью, около одиннадцати часов, лекарь приехал. Осмотрел больного, пощупал пульс и объявил, что есть «жарóк». Затем приказал натереть пациента оподельдоком и заставил его два катышка проглотить.

— Жарок есть, но вот увидите, что от оподельдока все как рукой снимет! — солидно объявил он.

Лекаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылал как в огне.

Несколько раз будили лекаря, но он повторял приемы оподельдока и продолжал уверять, что к утру все как рукой снимет.

Сережа бредил; в бреду он повторял: «Христос… Правда… Рассошников… Мартын…» — и продолжал шарить вокруг себя, произнося: «Где? где?..» К утру, однако ж, успокоился и заснул.

Лекарь уехал, сказав: «Вот видите!» — и ссылаясь, что в городе его ждут другие пациенты.

Целый день прошел между страхом и надеждой. Покуда на дворе было светло, больной чувствовал себя лучше, но упадок сил был настолько велик, что он почти не говорил. С наступлением сумерек опять открылся «жарок» и пульс стал биться учащеннее. Марья Сергеевна стояла у его постели в безмолвном ужасе, усиливаясь что-то понять и не понимая.

Оподельдок бросили; няня прикладывала к голове Сережи уксусные компрессы, ставила горчичники, поила липовым цветом, словом сказать, впопад и невпопад употребляла все средства, о которых слыхала и какие были под рукою.

К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гардины на окнах по оплошности не были спущены, то на стене

образовалось большое светлое пятно. Сережа приподнялся и потянул к нему руки.

— Мама, — лепетал он, — смотри! весь в белом… это Христос… это Правда… За ним… к нему…

Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер.

Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.



Антон Чехов

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно

юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и не вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…



Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в

харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома все господские, и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке, на окне, крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи — для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой

заяц… Дед не может, чтоб не вскрикнуть:

— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…


СЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ!

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку…

Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с

пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка… На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…



Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная! — ворчал Федор, работая. — Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого…

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

— С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая,

что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жженными перьями и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

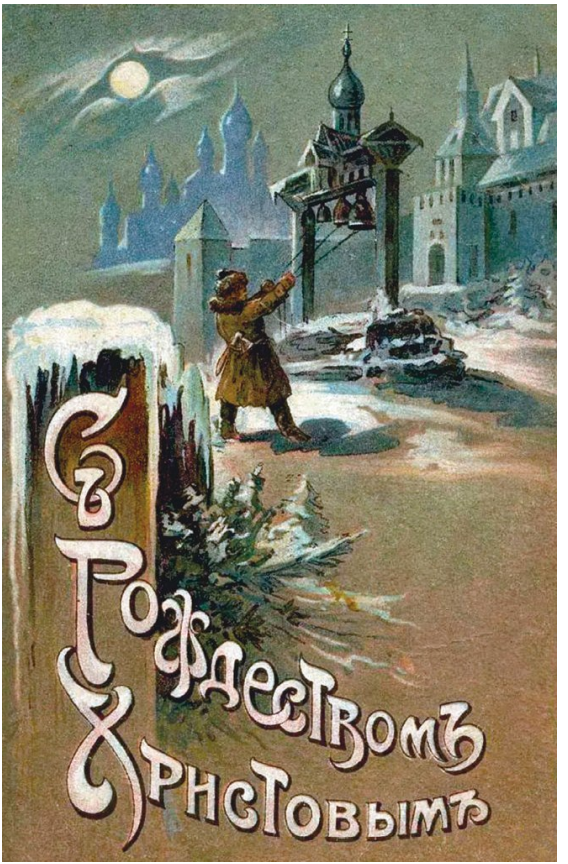
Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках… Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей ра-

боте и открыл глаза.

«Вот так история! — подумал он, оглядывая сапоги. — Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином, так что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:


С Рождеством Христовым

— Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

— Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», — Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке.

— Ваше высокоблагородие, сапожки принес! — сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! — подумал Федор. — Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

— Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

— Люблю за такие слова, — сказал польщенный заказчик. — Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос,

такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.

— Что же ты хочешь? — перебил его заказчик.

— А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

— Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

— Ваше высокоблагородие! — сказал Федор вежливо. — Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

— Ну ладно! — согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым, и завоняло жжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя — вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» — думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

— Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

— За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? — спросил он.

— Кузьма Лебедкин, — ответил лакей.

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

— Что прикажете, ваше высокоблагородие?

— Молчать! — крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать и помни свое сапожницкое звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

— За деньгами-с.

— Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и, чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось

еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.



— Денег много, — говорил он жене, — того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек:

— Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал

думать: чем бы развлечься?

— Барин! — крикнул ему дворник. — Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

— А еще тоже барин! — дразнили его извозчики. — Словно сапожник какой…

— Нешто господам можно безобразить? — сказал ему городовой. — Вы бы еще в кабак пошли!

— Барин, подайте милостыньки Христа ради! — вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. — Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину, но она сказала сердито:

— Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! — подумал Федор. — Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на

гармонии, ни тебе с бабой поиграть… Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

— Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

— Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

— Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор спросил угрюмо:

— А чем вы, барин, занимаетесь?

— Я приготовляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры… Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие — петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

Мороз

На Крещение в губернском городе N. было устроено с благотворительной целью «народное» гулянье. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, огородили ее канатом, елками и флагами и соорудили все, что нужно для катанья на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался в возможно широких размерах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий: каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею, электрическое солнце и проч. Но все это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На Крещенье с самого кануна стоял мороз градусов в 28 с ветром; и гулянье хотели отложить, но не сделали этого только потому, что публика, долго и нетерпеливо ожидавшая гулянья, не соглашалась ни на какие отсрочки.

— Помилуйте, на то теперь и зима, чтоб был мороз! — убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гулянье было отложено. — Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться!

От мороза побелели деревья, лошади, бороды;

казалось, даже сам воздух трещал, не вынося холода, но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке, и ровно в час дня начал играть военный оркестр.

В самый разгар гулянья, часу в четвертом, в губернаторском павильоне, построенном на берегу реки, собралось греться местное отборное общество. Тут были старик-губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядели на каток.

— Ай батюшки, — изумлялся архиерей, — ногами-то, ногами какие ноты выводят! Ей-же-ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами… Ай убьется!

— Это Смирнов… Это Груздев, — говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мимо павильона.

— Ба, жив курилка! — засмеялся губернатор. — Господа, поглядите, наша городская голова идет… Сюда идет. Ну, беда: заговорит он нас теперь!

С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький, худенький старик в лисьей шубе нараспашку и в большом картузе. Это был городской голова, купец Еремеев, мил-

лионер, n-ский старожил. Растопырив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калошей о калошу и, видимо, спешил убраться от ветра. На полдороге он вдруг согнулся, подкрался сзади к какой-то даме и дернул ее за рукав. Когда та оглянулась, он отскочил и, вероятно довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом.



— Живой старикашка! — сказал губернатор. — Удивительно, как это он еще на коньках не катается.

Подходя к павильону, голова засеменил мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных калошах к самой двери.

— Егор Иваныч, коньки вам надо купить! — встретил его губернатор.

— Я и сам-то думаю! — ответил он крикливым, немного гнусавым тенорком, снимая шапку. — Здравия желаю, ваше превосходительство! Ваше преосвященство, владыко святый! Всем прочим господам — многая лета! Вот так мороз! Ну да и мороз же, бог с ним! Смерть!

Мигая красными, озябшими глазами, Егор Иваныч застучал по полу калошами и захлопал руками, как озябший извозчик.

— Такой проклятущий мороз, что хуже собаки всякой! — продолжал он говорить, улыбаясь во все лицо. — Сущая казнь!

— Это здорово, — сказал губернатор. — Мороз укрепляет человека, бодрит.

— Хоть и здорово, но лучше б его вовсе не было, — сказал голова, утирая красным платком свою клиновидную бородку. — Бог с ним! Я так

понимаю, ваше превосходительство, Господь в наказание нам его посылает, мороз-то. Летом грешим, а зимою казнимся… да!

Егор Иваныч быстро огляделся и всплеснул руками.

— А где же это самое… чем греться-то? — спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. — Ваше превосходительство! Владыко святый! Чай, и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Так невозможно!

Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не затем, чтобы греться, но голова, никого не слушая, отворил дверь и закивал кому-то согнутым в крючок пальцем. К нему подбежали артельщик и пожарный.

— Вот что, бегите к Саватину, — забормотал он, — и скажите, чтоб как можно скорей прислал сюда того… Как его? Чего бы такое? Стало быть, скажи, чтоб десять стаканов прислал… десять стаканов глинтвейнцу… самого горячего, или пуншу, что ли…

В павильоне засмеялись.

— Нашел чем угощать!

— Ничего, выпьем… — бормотал голова. — Стало быть, десять стаканов… Ну, еще бенедиктинцу, что ли… красненького вели согреть бутылки

две… Ну а мадамам чего? Ну, скажешь там, чтоб пряников, орешков… конфетов каких там, что ли… Ну, ступай! Живо!

Голова минуту помолчал, а потом опять стал бранить мороз, хлопая руками и стуча калошами.

— Нет, Егор Иваныч, — убеждал его губернатор, — не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обусловливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование… Это совершенно справедливо!

— Может, и справедливо, ваше превосходительство, но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, и всякие кушанья заморозить можно, и деточки на коньках катаются… все это верно! Сытому и одетому мороз — одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника, блаженного — он первейшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святый! При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить! Мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка, всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем, я без всякого внимания, знать его

не хочу. Но прежде-то что было, мать пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня с летами отшибло, и я всё позабыл; и врагов, и грехи свои, и напасти всякие — всё позабыл, но мороз — ух как помню! Остался я после маменьки вот этаким махоньким бесенком, бесприютным сиротою… Ни родных, ни ближних, одежонка рваная, кушать хочется, ночевать негде, одним словом, не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Довелось мне тогда за пятачок в день водить по городу одну старушку слепую… Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожака, как в лихорадке, жмешься и прыгаешь, потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их клещами жмет. Но это все бы ничего, пустое дело, не суть важное. Беда, когда все тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святый, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одеревенеешь, как статуй, идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой

заместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач с лотка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и сам не знаешь…

— Пока еще не стемнело, нужно по катку пройтись, — сказала губернаторша, которой скучно стало слушать. — Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова.

— Царица Небесная! А что было, когда меня в сидельцы в рыбную лавку отдали! — продолжал Егор Иваныч, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. — Бывало, выходишь в лавку чуть свет… к девятому часу я уж совсем озябши, рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь: «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется!» К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит… да-с! Когда потом сам хозяином был, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка словно мышеловка, со всех сторон ее про-

дувает; шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху, сквозная… Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, так что чуть ухо не оторвешь, другого по затылку хватишь, на покупателя злодеем этаким глядишь, зверем, и норовишь с него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не в духах и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь и так разойдешься, что пяти городовых мало. От морозу и зол становишься, и водку пьешь не в меру.



Егор Иваныч всплеснул руками и продолжал:

— А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили! Мать Пречистая!

И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу…

— Н-да, — вздохнул губернатор, — удивительно выносливый человек! Вы, Егор Иваныч, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай…

И губернатор рассказал, как во время последней Русско-турецкой войны, в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно тринадцать часов в снегу под пронзительным ветром; из страха быть замеченным, отряд не разводил огня, молчал, не двигался; запрещено было курить…

Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный во время сильного мороза вывалился из возка и едва не замерз; когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив. Потом, словно сговорившись, старики вдруг

умолкли, сели рядышком и задумались.

— Эх! — прошептал голова. — Кажется, пора бы забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, всё припомнишь! Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас.

Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли… Играют и думают: «Мать Пречистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть!»

Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний, что последнего нищего приближает к Богу: о немощи человека, о его боли, о терпении…

Между тем воздух синел… Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, внося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь и в павильон вошел молодой, безусый околоточный с багровым носом и весь покрытый инеем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал:

— Ее превосходительство приказали доложить, что они уехали домой.

Глядя, как околоточный делал озябшими растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инеем, все почему-то почувствовали, что у этого околоточного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа…

— Послушайте, — сказал нерешительно губернатор, — выпейте глинтвейну!

— Ничего, ничего… выпей! — замахал голова. — Не стесняйся!

Околоточный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого околоточного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул.

— Пора по домам! — сказал он, поднимаясь. — Прощайте! Послушайте, — обратился он к околоточному, — скажите там музыкантам, чтобы они… перестали играть, и попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им… пива или водки.

Губернатор и архиерей простились с «городской головой» и вышли из павильона.

Егор Иваныч принялся за глинтвейн и, пока околоточный допивал свой стакан, успел рас-

сказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.



Николай Лейкин

В департаменте

За два дня до Рождества чиновники N-го департамента, получив награду, окончательно потеряли способность заниматься делом. На столах были разложены бумаги, дела в синих обложках, но никто за работу не присаживался. Началось усиленное курение папирос, хождение из одного отделения в другое, разговоры о гусе, о поросенке, о ветчине, о елке, о детских игрушках, о подарках вообще и разных предпраздничных приготовлениях. Даже столь любимое занятие на службе, как чтение газет, и то было оставлено на этот раз. В счетном отделении даже книги лежали открытыми кверху ногами. Все ждали, когда уйдет директор, чтобы разбежаться, но директор, как на зло, не уходил. Сидели и начальники отделений по своим местам, но делами также не занимались, а кто составлял для себя смету домашних праздничных расходов, кто писал карандашом реестр праздничных подарков и предметов, нужных по хозяйству.

Вот в отделение входит бакенбардист с проседью в волосах, останавливается перед окном и смотрит на градусник.

— Хорошо, кабы такой мороз на Рождестве постоял. Можно бы съездить прокатиться на тройке в загородный ресторан.

— Михаил Павлыч, не ушел еще наш Вельзевул? — слышится от стола, около которого лысый бородач в очках покуривает папироску.

— Директор-то? — откликается бакенбардист. — Сидит еще, и долго просидит. Сейчас потребовал дело из второго отделения. Каракулев снес ему, но по ошибке засунул туда список покупок, который ему дома жена составила. Каракулев рассматривал его, заторопился-заторопился и думает, что сунул в дело, потому что списка у него нет.

— Это ничего. Это даже хорошо. Наш, по крайней мере, узнает список нужд чиновников. И чего он сидит! — вздыхает молодой чиновник с бородкой Генриха Четвертого.

— Вдовый чиновник, оттого и сидит. Вдовый и бездетный. Что ему дом? Отсюда, поди, поедет в сельскохозяйственный клуб обедать. А здесь, если вот тебе надавали из дома поручений по самую макушку да еще просили, исполнив эти поручения, пораньше прийти обедать, так поневоле будешь торопиться скорей убежать из нашего чистилища. Я вот теперь стою и думаю: как это я

все успею сделать к шести часам вечера? Дольше уж я не могу заставлять моих домашних ждать меня к обеду, — произносит лысый бородач.

— Нет, я все это жене поручил, — доносится от другого стола. — С моей стороны только разве ей и ребятишкам подарки…

— А у моей жены флюс, второй день у ней щеку раздувает. Она винную ягоду, в молоке сваренную, за щекой держит, так какие тут закупки! До закупок ли! Просила меня окорок ветчины купить, гуся, поросенка, елку ребятишкам, игрушки…

— О-го-го! И все это сегодня?

— Да завтра-то когда же?.. Завтра уж сочельник… Завтра надо уж запекать окорок, а не покупать его, из поросенка заливное делать, елку украшать.

— Да-да… Действительно… Так что же вы? Убирайте бумаги и уходите, — говорит американская борода с бритыми усами.

— Неловко. А вдруг он разлакомится и какое-нибудь еще дело потребует для просмотра, а дело это окажется в моем столе. — «Где Петр Иваныч?» — «Ушел». Неловко тогда будет.

— Помощник ваш подаст дело.

— Ну все-таки неловко. Ведь вы вот тоже не

уходите, а я по лицу вижу, что и вам также нужно уйти, как и мне.

— Да нужно-то нужно, что говорить! Нужно купить жене на платье — вот что нужно. Ну, духов, одеколону… Потом уж я и себе сбирался преподнести на елку золотые очки. А ведь вам, видите, и окорок, и гуся, и поросенка. Это совсем особь-статья. Вы и окорок дома запекаете или варите?

— Запекаем. Жена не любит вареной ветчины.

— Ах, напрасно! Вареная ветчина — это блаженство. Вся Москва ест по трактирам вареную ветчину, а уж москвичи насчет ветчины знатоки.



— Жена не любит. Что ж вы поделаете, если она не любит! Вот поросенка мы варим и делаем заливное.

— А я поросенка люблю только жареного, только с кашей, но при этом чтоб каша представляла из себя фарш с луком, с перцем и с рублеными грибами. Да утробу-то эту начинить хорошенько, а кашу прожарить, лук истомить. Божественно!

Лысый бородач начал причмокивать.

— У нас гусь, чиненный кашей, будет в первый день Рождества к обеду, — сообщил бакенбардист.

— А вот, по-моему, гусь должен быть непременно с капустой, а то так с яблоками. И гуся я непременно люблю так, чтобы он был распарен. У меня дома как делают гуся? Пожарят-пожарят его на противне, а потом в котел, обмазанный маслом, крышкой прикрыть, и жарить, и парить. Тут и кислая капуста, которая у него в брюхе, распарится, и он сам. И гуся этого до того нужно распарить, что вот, например, за кость ноги его взял, а мясо с кости с него как чулок слезло бы. Вот это гусь! Это называется — по-польски. Жену в западном крае научили так приготовлять, когда она к матери гостить ездила. Попробуйте так у себя дома.

— У меня жена ничего не любит пареного.

— Ну, значить, она ничего хорошего не любить. Индейка — вот эта птица пареной невкусна. А ветчину какую покупаете?

— Да обыкновенную.

— То есть где собственно? У немца, у поляка или у русского? В какой колбасной?

— Просто в обыкновенной мясной лавке, на Сенной.

— В простой мясной лавке?

— Да, да, да…

— Ну, это не ветчина. Надо у немцев в колбасной лавке покупать. Тогда у вас будет настоящая ветчина. Свинство — это дело немецкое, немцы на нем собаку съели. Я не люблю немцев, но за ветчину и всякое колбасное свинство перед ними преклоняюсь. А на Сенной разве это ветчина!

— А то что же?

— Да так… Неизвестно что. Сильно прокопченная и просоленная нога борова, твердая, жилистая. На Сенной окорок покупать! Ну, батенька, вы не гурман. Гуся и поросенка вы можете покупать и на Сенной, это я допускаю, но окорок — ни-ни…

— Я даже думаю купить вместо гуся-то хорошего индюка.

— Индюка? Прекрасно, прекрасно, но индюк вам гуся не заменит.

— Знаю. Но у меня дети. Боюсь, как бы гусь слишком жирен не был. Индюк все-таки…

— Гусь… Жирен… Да где вы нынче жирного гуся найдете? Их нет. Нынче везде мужицкий сухой гусь, а уж прежнего помещичьего гуся нет. Позвольте… Ну а как у вас индюка приготовляют?

— Да просто изжарят.

— С чем? С чем подадут-то?

— Ну, с картофелем. Потом к нему соленые огурцы.

— Это, батюшка, значить портить добро. Кто же индюка с картофелем ест! Вы, пожалуй, еще с тертым… С каштанами индюка надо кушать, непременно с каштанами. А вместо огурцов — английские пикули, что вот возьмешь, а проглотить и не можешь, до того у тебя весь рот спалить.

— Так что же тут хорошего, если проглотить не можете? — улыбнулся бакенбардист.

— Эффект, вкусовой эффект. Потом проглотите и спасибо скажете. Но вот первый-то момент… А потом вам вкус освежит. Почувствуете эдакую встряску организма… А проглотили — и сейчас у вас из глаз слезы… Ну, тут сейчас кусок индейки в рот, затем каштан в рот и чувствуете неизъясни-

мое блаженство. Попробуйте так поесть и вовек с этим блюдом не расстанетесь.

— Ну, я не гурман. Я такой тонкости в еде не понимаю. Мне и так вкусно, — сказал бакенбардист и прибавил: — Однако я пойду закупать провизию. Скоро три… Авось он меня сегодня не спросит. Прощайте.

— Прощайте. А гуся и индейку попробуйте по моему рецепту. Распарить гуся так, чтобы с ноги мясо как чулок снималось. Помните, как чулок…

Бородач протянул сослуживцу руку. Тот стал уходить. Вдруг навстречу ему вбежал жиденький чиновник с капулем на лбу и возгласил:

— Павел Иваныч! Идите. Директор требует дело о поставке строевого леса купцом Бобруевым, который забраковали при приеме. Мы ищем-ищем это дело и только сейчас вспомнили, что оно у вас.

Бакенбардист плюнул.

— Тьфу ты, пропасть! — сказал он. — Вот разлакомился-то на работе. И какие теперь дела перед праздниками! Дело о поставке строевого леса… Да кой шут знает, где оно! Мы, кажется, передали его не то в строительное, не то в счетное. Там оно. И подрядчик-то Бобруев давно уже умер. Ну где я его теперь разыщу? Теперь перед праздниками дела

— гусь, окорок, поросенок, а вовсе не о поставке строевого леса, — продолжал бормотать бакенбардист и неохотно направился в свой стол.



На святках

Вечер на Святках в купеческом доме средней руки. По комнатам ходят несколько ряженых в костюмах из табачной лавочки, останавливаются перед гостями и для чего-то рычат на них. Девицы взвизгивают и обращаются в бегство. Лишь один ряженый, в черном костюме Гамлета, но для чего-то в ботфортах со шпорами и в рыцарском шлеме, следует за товарищами и, изменяя голос в принужденный бас, старается остановить их, говоря:

— Господа! Так безобразно, так нехорошо. Девицам надо говорить комплименты, а не пугать их.

— Пусть поднесут нам хозяева по чапорушечке, тогда и пугать перестанем, а иначе невозможно!.. — откликается «разбойник» в красной куртке с золотым позументом, в испанских сапогах с раструбами и в польской конфедератке на голове.

По пятам ряженых следует хозяин дома, купец с полуседой подстриженной бородой, хмурится и говорит:

— Не угощать вас, а по шеям накласть вам следовало бы, коли не хотите маски снять и сделать

доказательство, кто вы.

— Уверяю вас, Афанасий Кирилыч, что мы из торгового звания и купеческой нации, а только доказательства нашей личности нам невозможно сделать в здешнем месте, — распинается за всех Гамлет. — Хоть вот сейчас умереть, так из торговой нации.

— Знаю я эту торговую нацию-то! Ходит по домам да ищет, где что плохо лежит.

— Позвольте-с… Да ведь уж мы честь честью порешили, что вы после всего этого происшествия даже обыскать нас можете, когда мы будем уходить. Мы только танец станцуем, гостей позабавим и уйдем.

— Ну так танцуйте скорей, да и с Богом… потому долго за вами мне следить некогда — я в карты играю.

— И следить не надо-с. Вся ваша движимость будет в целости до капельки. Будьте покойны.

Худая и тощая таперша в линючем платье и с прыщавым испитым лицом ударила по клавишам расстроенного пианино, и раздался ритурнель кадрили. Ряженые бросились приглашать дам. Дамы бегали и скрывались в другую комнату. Гамлет подбежал к хозяйской дочке и только что выговорил «позвольте вас просить»,

как та замахала руками и взвизгнула:

— Нет-нет, ни за что на свете.

— Варвара Афанасьевна! Это я-с… Николай… Бубыревский приказчик, Маркела Емельяныча племянник… — шептал Гамлет. — Личности нашей мы пред вашим папашенькой доказать не можем, потому они нас тогда еще хуже выгонят, но вот то оное сердоликовое кольцо, которое вы изволили уронить и я поднял и храню на память как бы на дне моря.

Гамлет протянул руку и показал на мизинце кольцо. Девушка вспыхнула и проговорила:

— Да может быть, вы врете… Ведь таких колец много.

— С места не сойти, трижды сдохнуть.

— Ну хорошо, извольте… Только ведь другие девицы с вашими товарищами танцевать не будут.

— А вы их уговорите. Это наши приказчики. Мы все из одной лавки…

— Так спервоначалу вы их уговорите, чтобы они не рычали и не пугали девиц.

— Я уж и то их уговариваю, но они малость выпивши и не внимают. Ведь ежели они рычат, то хотят позабавить гостей, чтобы смешнее выходило, а то они смирные, буянства не сделают.

Гамлет подбежал к товарищам и начал шеп-

таться. Те притихли. Хозяйская дочка начала уговаривать подруг. Те согласились танцевать с ряженными. Стали в пары. Хозяин подошел к дочери и пробормотал:

— Танцевать танцуй, но на руки посматривай, чтобы браслетки были целы.

— Афанасий Кирилыч! Да неужто мы?.. Ах ты господи!

— Ничего. Предупредишь, так все лучше. А от слова худа не будет, — отвечал хозяин и отошел к сторонке.

— Вот до чего меня любовный вопль довел-с: чтобы видеть лицезрение вашей личности и слышать дыхание вашей груди, я даже на обыскание своей собственной личности решился… — шептал девушке Гамлет. — Ваш папашенька думает, что мы воры, и хочет обыскание нас сделать, когда мы будем уходить от вас после всего этого происшествия.



— Говорите тише… — чуть произнесла девушка и потупилась.

— Вот до чего грудной вопль меня довел… — продолжал Гамлет. — Две недели я уже в меланхолии и по ночам кроплю мою одинокую подушку слезами.

— Отчего же это вы так?

— От вас. Воображение ваших неземных глаз не выходит из памяти.

— Полноте.

— Питья и пищи лишился. Один лик стоит передо мной, и ничего больше не вижу.

— Ах, оставьте… Что вы!

— Я слышал, что за вас после Святок мусорщицкого сына Каракулева сватают, что после Святок и рукобитье будет.

— Оставьте… Бросьте… Нехорошо.

— Ангел небесный души моей! Уж ежели я проник в ваш дом и сделался на одной доске с вором, так как меня обыскивать будут, чтобы я браслетки не украл, то должен я свое объяснение сделать.

— Говорите тише.

— Я и то на манер шептания зефира. Вот в чем дело… Тяните ваше сватовство с мусорщицким сыном недели три-четыре, а я тем временем в

люди выйду и свою лавку открою. Мне дядя даст пять тысяч на товар. Теперь я не смею с суконным рылом в калачный ряд свататься лезть, а тогда совсем другой антресоль — и я сваху зашлю. Тогда уж я на хозяйском положении буду, и, может быть, можно будет вашего папеньку уломать. Да?



— Не знаю. Они очень нравны.

— Голубушка!
— Вы лучше отдайте мое кольцо.
— Ни за что на свете. Это мой талисман.
— Танцуйте.
Таперша ударила по клавишам. Затанцевали.



Александр Куприн

Тапер

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не мое дело… У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала как сумасшедшая в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую

суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, — сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших

с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.



Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, сме-

шивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных

случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно»[6] и «брютально»[7], и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей

---

[6] Примечания: 6
Пóшло (от *фр.* mesquin).

[7] Примечания: 7
Грубо (от *фр.* brutal).

головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, и по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большей частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны…



Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады[8] дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в

[8] Примечания: 8
Проказы (от *фр.* escapade).

этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к

ней оркестр Рябова. Но в этом году[9] с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться

---

[9] Примечания: 9

Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З — вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. *(Прим. автора.)*

о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту

начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвиж-

ная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного… А потом я ее сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая

шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

— Только, барышня, не браните меня, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня Бог — в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые

глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?

— Да… я играл, — ответил он голосом несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

— Ах нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному,

спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible[10], — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

---

[10] Примечания: 10

Перестаньте же, Лидия, вы невозможны *(фр.)*.

— Воображаю! — делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском

фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

— Угодно вам «Rapsodie Hongroise»[11] № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и

---

[11] Примечания: 11
«Венгерская рапсодия» *(фр.).*

знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапер, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

— Тапер? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.



— Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы… как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь, я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в

наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под

такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно, узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпеча-

ток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испу-

ган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие *того*, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смяг-

чалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

— Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.



Исполины

Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы! В нем участвует вся рождественская бутафория: вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик.

Но войдите же и в мое положение, господа читатели! Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под Рождество. Она могла бы случиться когда угодно: под Пасху или в Троицу, в самый будничный из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к Рождеству, а не к другому сроку.

В эту самую ночь, с 24 на 25 декабря, возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы господин Костыка. Был он… пьян

не пьян, но грузен, удручен и раздражителен. Давали знать себя: поросенок с кашей, окорок, полендвица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в преферанс: уж правда, Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное, было досадно то, что во время ужина, в споре о воспитании юношества, над ним, старым педагогом, одержал верх какой-то молокосос-учителишка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верха-то он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но… другие — мальчишки и девчонки… они аплодировали, и смеялись, и блестели глазами, и дразнили Костыку: «Что, старина? Приперли вас?»

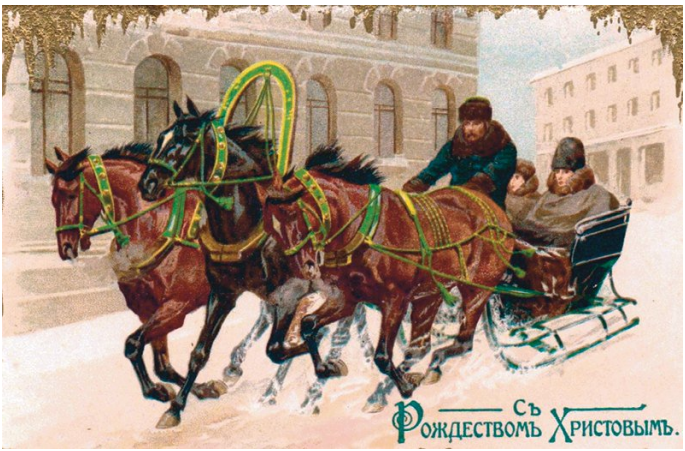
И потому-то, с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой, проклял он сначала обычай устраивать елки — обычай если не языческий, то, должно быть, немецкий, а во всяком случае, Святой Церковью не установленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, помянул черным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя

математики, в расточительности. «Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверно, женину ротонду заложил!» Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками и вздохнул о старом, добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик (который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с двумя миллионами, забытый накануне у него в санях), этот самый извозчик запросил на Пески «полтора целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка», а когда Костыка предложил ему двугривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то «носоклюем», а Костыка тщетно взывал к городовому о своей обиде: извозчик умчался на резвенькой, городовой тащил куда-то вдаль пьяную бабу — и тогда Костыка заодно предал анафеме и русский народ с его самобытностью, и Думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы.

В таком-то хмуром и придирчивом настроении он взобрался к себе домой, на пятый этаж, проклянув, кстати, мимоходом и городскую культуру в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень

долго он балансировал с зажженной лампой, вроде циркового жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с «прислугой за все», новгородской каменной бабой Авдотьей, но получил жестокий отпор, после которого в течение семи секунд искал равновесия по всему кабинету, от двери до стены. И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям.

«За что? — горько думал он. — За что, о Лапидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девических улыбок — то ты и прав? Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами? Погляди, брат, вот они, живые-то свидетели».



Он широко обвел рукою вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые — сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки — портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы восторженных слов… И ему вдруг показалось, что по лицам этих исполинов, от глаз

к глазам, быстро пробегают, точно летучие молнии, страшные искры насмешки и презрения.

Костыка вздрогнул, отвернулся, протер глаза и тотчас же, для собственного успокоения, вернулся к прежней нити мыслей, на которую стал нанизывать свои жалобы, упреки и мелочные счеты. Но стакан все-таки еще дрожал в его руке.

«Нет, Лапидарский, нет! Я, братец, погляжу на тебя лет через пять-десять, когда ты поймешь, что это такое за шуточка — бедность, зависимость и власть… когда ты узнаешь, что сто́ит семья, а с ней болезни, роди`ны, крестины, сапожишки, юбчонки… Ты вот кричишь теперь: Маркс, Ницше, свобода, народ, пролетариат, великие заветы… Погоди, милый! Запое-ешь! Будешь как и я. Скажут тебе: лепи единицы — будешь лепить. Пусть стреляются, травятся и выскакивают из окон. Идиоты. Скажут тебе: будь любвеобилен — будешь; скажут: маршируй — будешь. Вот и все. И будешь сыт, и пригрет, и начальству приятен. И будешь, как и я, скучать по праздникам о том, что некого изловить в ошибке, некому поставить „един“, некого выключить с волчьим паспортом».

И опять он невольно обернулся к стенам, на которых симметрично висели фотографии че-

ловеческих лиц — гневных, презрительных, божественно-ясных, прекрасно-мудрых, страдальческих, измученных, гордых и безумных.

— Смеетесь? — закричал вдруг Костыка и ударил кулаком по столу. — Так? Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы — дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам — профессионал и авторитет! Я, я, я, который сейчас произведу вам экзамен. Будь вы хоть распрогений, но если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и противозаконны, то единица, волчий паспорт и — вон из гимназии на все четыре стороны. Пускай потом родители плачут.

Вот вы, молодой человек! Хорошего роду. Получили приличное образование. К стихам имели способность. К чему вы ее употребили? Что писали? «Гавриилиаду»? Оду к какой-то там свободе или вольности? Ставлю нуль с двумя минусами. Ну хорошо. Исправились… Так и быть — тройка. Стали на хорошую дорогу. Нет, извольте: камер-юнкерский мундир вам показался смешным. Ведь нищим были, подумайте-ка. Еще нуль. Стишки писали острые против вельмож? Нуль с двумя. А дуэль? А злоба? За нехристианские чувства — единица.

А вы, господин офицер? Могли бы служить,

дослужились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше. Кто вам мешал развивать свой гений? Ну… там оду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника?.. А вы предпочли ссылку, опалу. И опять-таки умерли позорно. Верно кто-то сказал: собаке — собачья смерть. Итак: талант — три с минусом, поведение — нуль, внимание — нуль, нравственность — единица, Закон Божий — нуль.

Вы, господин Гоголь. Пожалуйте сюда. За малорусские тенденции — нуль с минусом. За осмеяние предержащих властей — нуль, за один известный поступок против нравственности — нуль. За то, что жидов ругали, — четыре. За покаяние перед кончиной — пять.

Так он злорадно и властно экзаменовал одного за другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывался холодный, смертельный страх. Он похвалил Тургенева за внешнее благообразие и хороший стиль, но упрекнул его любовью к иноземке. Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил за полячишек. «Да и православие ваше было какое-то сектантское, — заметил Костыка. — Не то хлыстовщина, не то штунда».

Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами, — глазами человека, который, высоко подняв величественную бородатую голову, пристально глядел на Костыку. Сползший плед покрывал его плечи.

— Ваше превосходительство… — залепетал Костыка и весь холодно и мокро задрожал.

И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо:

— Раб, предатель и…

И затем пылающие уста Щедрина произнесли еще одно страшное, скверное слово, которое великий человек если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями…

…Он проснулся, потому что, задремавши над стаканом, клюнул носом о стакан и ушиб себе переносицу. «Слава Богу, сон! — подумал он радостно. — Слава Богу! А-а! Так-то вы, господин губернатор? Хорошо же-с. Свидетелей, благодаря Бога, нет…»

И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей квартиры и

повесил там великого сатирика на веки вечные, к общему смеху и поруганию.



Леонид Андреев
Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он

сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок» — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый немигающий огонек. Мороз усилился, и когда Сашка прохо-

дил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил

непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.



Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской

статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.

Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитри-

евна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется, — сухо за-

метил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее

творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружаю-

щие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки

как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый… милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. — Те… Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за пла-

тье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те… тетечка. Дай мне одну штуку с елки, — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда

получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

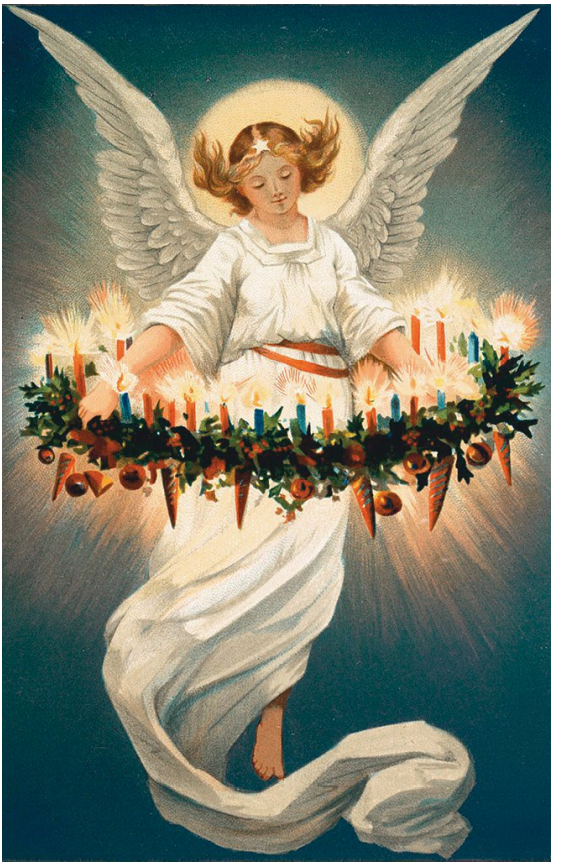
— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только

перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.



Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на́ уж, на́, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки.

И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы

целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную про-

пасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь:

— А то кто же? Конечно она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву…

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие

ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?

— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду… не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж… зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя

наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.



Аркадий Аверченко

Большое сердце

Рождественский рассказ

Серое, темное небо нависло над землей… Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника…

Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, спешащих людей.

— Боже, — думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. — Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребяткам, лишенным этого, — хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой… Сколько на свете холода, горя и несчастья!

Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, вышел из дому.

Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал:

— Какие они все равнодушные, сухие… Никому ни до кого нет дела… А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия…

Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.

— Бедная, бесприютная собачка, — сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней. — Бродишь ты по улицам, и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.

Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.

— Вы зачем, черт вас забери, мою собаку дразните? — послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.

— Я хотел собачку… домой отвести… согреть.

— Ха-ха! — грубо расхохотался офицер. — У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не

домой!.. Неро, ici!

* * *

А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами…

Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал:

— Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник… Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода… Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного, и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую, неутомимую лошадку… И он идет сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука…

Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.

Мимо него прошел сгорбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек.

Сердце Слякина сжалось.

— Послушайте… эй! Путник! Обождите.

Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку три рубля.

Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.

— Это… что значит?

— Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют…

— Да как вы смеете! — взревел прохожий. — Да вы знаете, кто я? Да я вас в двадцать четыре часа… Этакая наглость!


Съ Новымъ Годомъ.

Его щегольская шинель распахнулась, и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.

— Извините… — пролепетал Слякин.

— Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!

* * *

Ветер все крепчал.

Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную широкую улицу, печально размышлял:

— А сколько детей, этих, по выражению поэта, цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы, не для них… Не для этих пасынков на жизненном пиру.

Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось.

У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфекты.

— Бедное дитя! — пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. — Несчастный бесприютный ребенок… Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.

— Maman! — закричала испуганная девочка. — Maman! Où me tire-t-il?[12]

Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.

— Оставьте ее, скверный старикашка! — закричала она. — Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!

— Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы, — сказал господин, проходя мимо.

— Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..

— Уверяю вас, — сказал Слякин, — я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая…

— Вы негодяй! — сказала возмущенная дама. — Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее…

* * *

А снег все падал…

Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой,

---

[12] Примечания: 12
Мама!.. Мама! Он тянет меня за собой! *(фр.)*

думал:

— О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку… Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья… Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния.

С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.

— Вот оно, — подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:

— Погода дурная, не правда ли?

— Погодка сволочная, — согласился незнакомец.

— Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? — деликатно спросил Слякин. — Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимообразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос. А?

— Нет, ты мне лучше пальто дай, — возразил незнакомец. — Снимай-ка его, живей!

— А… как же я?.. — удивился Слякин.

— А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя.

Тут больше? Ну все равно. А часики… золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?

* * *

Вьюга разыгралась, и снег беспрерывными хлопьями падал на белую землю.

По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал себе под нос.

Маленький, одетый в женскую кацавейку мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал:

— Дядинька… Ради праздничка…

— Ради праздничка?! — закричал Слякин. — Вот тебе, маленький негодяй!

Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши…

И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши…

Тайна зеленого сундука

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке:

— Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте: напитков никаких нет, значит останется больше денег и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной:

— Хорошее Рождество будет… Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Слава те, Господи.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети Постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом:

— Нынче папа никакого вина и водок не может купить — значит эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатили побольше да игрушек бы закатили побольше.

Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась в невероятной, сногсшибательной пляске, когда глава дома Постулатов сидел одино-

ко в темном кабинете, в углу, и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую, мрачную думу.

Страшен был вид Постулатова.

«Нету нынче на праздниках никаких напитков — хорошо же! — думал он. — Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепорю. Раз уж скверно, то пусть всем будет скверно».

Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше.

* * *

Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила:

— Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?

— Черташенька я тебе, а не Алексашенька! — горько ответил муж. — Возьму вот и повешусь на дверях!

— Господь с тобою! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие — будут без неприятностей… Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке.

— Подарок? — заскрежетал зубами Постулатов. — Кухарке? Купить ей в подарок железную

кочергу, да и бить ее этой кочергой каждый день по морде.

— Алексаша! Такие выражения… Надо же выбирать…

— Не из чего, матушка, не из чего!



— Что же тебе кухарка плохого сделала?

— Да знаю я… Поймает крысу, да и врубит ее в котлеты. А в суп, наверное, плюет.

— Опомнись! Для чего ей это делать?

— А я почем знаю? Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает.

— Зачем? Что ей за расчет? Ведь мышьяк денег стоит.

— Из подлости. А гувернантка — я знаю, — она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить, а старшенького подговорила покуситься на мою жизнь.

— Для чего?! Что она, после тебя наследство получит, что ли?

— Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями.

— Бог знает, что ты такое говоришь… — заплакала жена. — Ну раз не хочешь сделать им подарки, что ж делать… Я из своих им куплю. Из тех, что ты мне на расходы дашь.

— Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка! Как жена ты ниже всякой критики!

— Алексаша!!

— Чего там «Алексаша»! Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи? Я все понимаю! Не будет им за это елки!!

— Какой позор! — воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты.

«А ловко я ее допек! — подумал немного про-

яснившийся Постулатов. — Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек — и все будет как следует». И заворочались во тьме тяжелые ленивые мысли: «Жаль, что у меня детишки такие послушные — ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, паршивцы? У других как у людей — ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, а у меня… выродки какие-то. Вон у Кретюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил… Вот это ребенок! Это темперамент! Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним, подлецом, сделал бы. А от моих — ни шерсти, ни молока… Сидят у себя они в детской тихонько, смирненько, не попрыгают в гостиной, не посмеются». Сердце его сжалось.

«А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит он, паршивец, делает нечто противное своему возрасту. А за это — драть! Неукоснительно — драть. Я им покажу, как серьезничать».

Он встал, сверкнул зелеными глазами и крадучись отправился в детскую.

А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики…

* * *

— Вы чего тут сидите? — нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал Постулатов.

— Мы ничего, папочка. Мы сидим тихо.

— Сидите тихо?!

Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном.

— А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело? Сейчас же чтобы резвиться, прыгать и смеяться. Ну?!!

Детки заплакали:

— Простите, папочка… Мы больше никогда не будем…

— Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие! Ну, ты! Или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку!..

Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца…

— Ах так? Такое отношение? Не хотите веселиться?! Ну так вы сейчас отведаете ремня!! Эй,

кто там?! Где мой кожаный ремень?! Агафья! Лизавета! Подать ремень!!

Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина.

— Куда девался ремень? Агафья!

— Не знаю, барин… я и то найти его не могу!.. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке?..

— Подальше, дьяволы, постарались засунуть. Прочь!! Я сам его найду!

И ринулся Постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук.

В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь: сплющенная весенняя шляпка, два разрозненных тома «Нивы», испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка.



На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся: шнурок от пенсне, полдесятка разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка.

Зеленый сундук Постулатовых отличался той

же хаотичностью и разнообразием содержимого.

Лихорадочно рылся разъяренный Постулатов, отыскивая популярный в детской желтый кожаный ремень от саквояжа, рылся… как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное.

«Дрянь какая-нибудь, пустая посуда», — подумал он и вытянул на свет божий одну бутылку, другую, третью…

Оглядел их — и сердце его бешено заколотилось: в первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо, мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка.

— Чудеса… — проворчал он дрогнувшим голосом и закричал: — Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка!

Вошла заплаканная жена.

— Лизочек, каким это образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая?

Жена наморщила лоб:

— Действительно, как они попали в сундук? Ах да! Это я весной засунула их сюда, перед Пасхой. Ты тогда купил больше, чем нужно. А я сунула сюда, подальше от тебя, да и забыла.

Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу:

— А чьи это глазки?

— Лизины.

— А зачем они заплаканы?

— Потому что один дурачок ее обидел.

— А если дурачок их поцелует — они будут веселее?

— Барин, — сказала, входя, Агафья. — Вот и ремень. Он за шкахвом был.

— Нацепи его себе на нос, — засмеялся Постулатов. — Послушай, Агафьюшка. Ты, кажется, гусей хорошо жаришь? Так вот изжарь к Рождеству. Потом, я давно хотел спросить: что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьище, замечательная баба! Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак… Я его носить не буду.

Пошел в детскую легким, танцующим шагом.

— Марья Николаевна! Я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь… Впрочем, это уже дело жены, хе-хе! А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете?

— Сечься ждем, — покорно вздохнул самый маленький и заплакал.

— Ишь чего захотели! А чего вы больше хотели бы: сечься или елку?

С решительностью, чуждой всяких колебаний

и сомнений, все сразу определили свой вкус:

— Елку!

— Да будет так! — мелодично засмеялся отец, целуя младшего. — Кося, заведи граммофон!..

* * *

Тысячи собак за окном улеглись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким, тихим светом луны. Завтра — веселый сочельник.

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение…



Инквизиция

Я гляжу на них сверху вниз…

И не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька — вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено, и оба, не мигая, глядят в мои бегающие глаза.

— Я у Шуры книжку видел, — сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил: «Какую?»

— Какую?

— Называется «Мальчик у Христа на елке».

— М-да-а, — неопределенно мычу я.

Молчание.

Лиля решает поддержать брата:

— А я стихи новые знаю.

И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка: «Какие?»

— Какие?

Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки. Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше, прорывается сразу:

У нашей елки
Иголки – колки.
В дверную щелку
Мы видим елку…
Звезда, хлопушки,
Орехи, пушки.

— Все. Вчера в журнале читала.

— Так-с, — снова мямлю я. — Стишки хоть куда. А это знаешь: «Зима. Крестьянин, торжествуя…»?

Но такой оборот разговора обоим невыгоден.

— Мы это знаем. Слушай, дядя… А бывают елки выше потолка?

— Бывают.

— А как же тогда?

— Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки — они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напропалую.

Котька отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос:

— А кто живет этажом ниже нас — у них есть дети?

— Не знаю. Кажется, там старик какой-то.

— Жаль. А знаешь что, — неопределенно говорит Котька, — я на Рождество буду слушаться.

— И я! И я! — ревниво кричит Лиля.

— Важное кушанье! — пожимаю я плечами. — Вы всегда должны слушаться. А нет — я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.



Котька приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы бесцельно, сообщает:

— У наших соседов, говорят, нынче елка будет.

— Не соседов, а соседей.

— Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет.

Положение создается тягостное.

— Елки… — мычу я. — Елки… Гм!.. Тоже, знаете, и от елок иногда радости мало. Вон у одних моих знакомых тоже так-то устроили елку, а свечка одна горела-горела, потом покосилась да кисейную гардину и подожгла… Как порох вспыхнул дом! Восемь человек сгорело.

— Елку нужно посредине ставить. Рази к окну ставят, — замечает многоопытная Лиля.

— Посредине… — горько усмехаюсь я. — Оно и посредине бывает тоже несладко. В одном тоже вот… знакомом доме… у Петровых… Петровы были у меня такие… знакомые… Так у них поставили елку посредине, а она стояла-стояла, да как бухнет на пол, так одну девочку напополам! Голова к роялю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули.

— Подставку нужно делать больше и тяжельше — тогда и не упадет елка, — деловито сипит Котька.

— На подставке одной далеко не уедешь, — возражаю я. — Главная опасность — это хлопушки. Знавал я такую одну семью… как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует — бац! Глаз пополам, и ухо на ниточке!


Съ Новымъ
Годомъ!

Мы все трое замолкаем и думаем — каждый о своем.

— А вот я тоже знала семью, — вдруг начинает задумчиво и тихо, опустив головенку, Лиля. — Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит: «Не будет вам завтра елки!» Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем… Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было — все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все.

— Это, наверное, был такой случай? — спрашиваю я, делая встревоженное лицо.

— Д… да, — не совсем убежденно отвечает Лиля.

— Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?

— Заберутся, — таинственно шепчут оба.

— А если вы не ляжете спать в это время?

— Нет, мы ляжем!!

Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние

и разочарование.

Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглупый вопрос:

— А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розового?

— Зеленую…

— Ну, раз зеленую — тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя.

* * *

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, совсем незаслуженны.



Иван Бунин

Святые

Дом был полон гостей — гости бывали часто и гостили подолгу, — светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя — так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смуглозолотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнувшими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую, и в буфетную,

стояли возле играющих в гостиной; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень из поварской; а дальше, за белыми лугами — высокие косогоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

— Мить, а Мить, — сказал застенчивый Вадя, — вы нынче пойдете к Арсеничу?

— А вы? — спросил Митя, как всегда, очень строго. — Я непременно пойду.

И, оглянувшись на гостиную, на буфетную, — ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, — дети медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу — в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей — бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали,

что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью — в одно время с господами — укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, накланявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось — повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запушено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина ви-

села в углу вместо образа: на руках чуть видной Богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.


Съ Рождествомъ
Христовымъ

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.

— Пил и ее, окаянную…

— Всю?

— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать — не первый раз…

— Я ни за что не скажу, — сказал Митя твердо. — А вы? — спросил он Вадю. — Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

— Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

— Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, — ответил он. — Мне ваша мамаша мещину выдают и рубль серебром де-

нег, а за квартеру я не бог весть что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на Бога не жалуюсь.

— Вы теперь умрете скоро, — сказал Митя.

— Сущая правда ваша-с. Полагаю, даже нонешней зимой.

— А охотником вы были?

— Нет-с, этого не привел бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

— Вы о дедушке плачете?

— Ну что ж о них плакать-с! — сказал Арсенич. — Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времю немало — восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевитые рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

— Ее казнили? — спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

— Это уж как водится, — ответил Арсенич. —

Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того…

— Вам ее жалко?

— Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувственного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, — сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. — Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница по имени Елена, девушка богатого роду, отменная красавица и бездушная кокетка…

— А где она жила? — спросили дети, перхая от дыма. — В лесу?

— Нет-с, это ей потом Господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в пространной и чудной квартере, в пирах, в веселии, по балам да маскерадам — попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного, и с трезвого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней… ну только она

в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязанности: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

— А вы у ней в гостях были? — спросил Вадя.

— Статочное ли дело-с! — сказал Арсенич. — Я, сударь, холоп простой, дворовой человек всего-навсего. Меня оттуда господа палками выгнали бы; да и поделом было бы!

— А дедушка?

— Дедушка — те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рождались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный… Ну так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да

теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зрить не могу… Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и говорит, что, мол, так и так… граф проиграл в штос все свое состояние и хочет на последние свои средства… — Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом… — и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви… А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил ее своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да Господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, — сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на Богоматерь. — Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть… Но только Спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, Дева Мария, моя мука — живот вечный отныне и во веки веков…»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижи-

мая рукав к лицу, облитому слезами.

— Все? — тихо спросили дети, подождав продолжения.

— Нет-с, не все еще, — со вздохом облегчения сказал Арсенич. — Они, докладываю вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончались, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь… Мужское дело, конечно, иное… мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного… Ну вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, стала еще прекраснее прежнего и совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала неглижировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески мальтретировать, она же безо всякого ответу собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили,

завязала свое голландское белье в узелочек, да и удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрыжут да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то — конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у Бога вечной-бесконечной жизни.

— Где тля тлит, — добавил Вадя, вспоминая

прежние рассказы Арсенича.

— Нет, сударь, не тля, — сказал Арсенич, — а, напротив того, радость безмерная. И вот, по воле Божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на спокой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее дозволить списать с нее образ Царицы Небесной, Всех скорбящих Радости. Она падает в ноги ему, заклинает Христом-Богом не делать того. «Я, — говорит, — великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», — ну, словом, почесть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку… да, наконец того, просто и одежда моя не дозволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту — такой обет Богу дала… Но только тот старец остается, например, непреклонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати… Жалуется, наконец, самой матери игуменье… А та возьми да и прикажи немедленно

же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь несть… И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена… ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не дозволяет… Боже мой, — воскликнул Арсенич, качая головой, — что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дите в своей утробе, а тут полюбила, как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

— Они ее убить велели? — спросил Митя.

— Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, — сказал Арсенич. — И вот извольте подумать, что она должна была почувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старица то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый,

какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.

— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый…

— Где орлы скрыжут, — добавил Вадя.

— Истинно-с, где орлы скрыжут и всякий зверь необузданный съесть может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рыси голосят, глядят с дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, — Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, — летит птица-Игра, вся белая, с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать… И конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания… И что же тут случилось, какое

внезапное чудо! Звери, птицы и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь-полночь проснулась вся обитель от такого шуму, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своем студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет матерь игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу, и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит чаща дремучая — и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди — и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? — воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

— Ее в монастырь принесли? — спросили дети.

— Понятно-с, куда же больше. И конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладались… Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, — великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голоском:

— А вы будете святой?

Арсенич закачал головой:

— Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

— А вы это все сами выдумали?

— Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках

— у меня книги бесподобные, старинные есть… Душа у меня, правда, не нонешнего веку… Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, домогаются. Этот прелестный дар — слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче продекламировал:

И в последний мой час я завет вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою!

За окном по сугробам скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косогорам за лугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой покачивал в такт головою.

— Ах, но и светская жизнь хороша-с! — сказал он, вздыхая. — И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— А зачем?

— А затем-с, что все бы жил, смотрел, на божий свет дивился… Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика Вонифатия — и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был… раб крепостной, только и всего-с… И уж совсем иного складу: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем… Пишут его, например, на образах русым… в житии так прямо и сказано: желтоволос был — значит, весь, небось, в веснушках, ростом невелик и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдалицы. Был он в городе Риме у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал — ну и пленил ее… В житии, конечно, уж очень бездушно сказано — мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в беззаконном сожительстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется — вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе… Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним, небось, как за ребенком, заботится — есть такие женщины ласковые, прелестные, бо-

гомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте… Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и винцо пьет — в житии так и сказано: был обуреваем страстьми, погрязал в грехах, — а она все дома, шьет, небось, ему что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ему, вроде матери… Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишком… И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни Бога, например, не боялась, а живем мы все-таки невенчанные, непризнанные — надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя — снаряди корабль, возьми злата, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Таре, там много святых страстотерпцев свои главы за Христа сложили… Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со

всякой дворовой прислугой…



— А дорогой буря поднялась? — спросили дети.

— Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса — и отправляется он в этот город Таре, в гостиный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит,

например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно беспечный, беззаботный, напевает свою арию и вдруг слышит страшный шум… Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посередь площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан — кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, — а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да святится имя Господне, Христово, пречистое!» И как услыхал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь — в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя Господне, — кинулся в самый народ, выскочил наперед всех, да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя Господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня — хочу и я пострадать за Спасителя!» Тут все, понятно, к нему — ужасаются за него, уговаривают — побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело… А он все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склочить, прельстить

— проклинаю ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою головушку…

— И принял мечное сечение, — добавил Вадя тихо.

— Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! — воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. — Ну да что! — прошептал он потом, отвертываясь и ловя по столу свой платок. — Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожащую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

— Вам Вонифатий больше нравится? — строго спросил Митя.

— Грешный человек, — прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, — уж очень мне его кураж нравится!



Ида

Однажды на Святках завтракали мы вчетвером — три старых приятеля и некто Георгий Иванович — в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете.

— Как не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу,

ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся…

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским… Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

— Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и престранное занятие — быть другом известных писателей, художников, артистов, — человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел — он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, — и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

— Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай Боже!» — и, дуя себе в усы, при-

нялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:

— Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества…

— История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, — сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него.

— Амурная? — сказал он холодно и насмешливо. — Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да Бог с вами. «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!» [13] — поднимая брови, запел он

---

[13] Примечания: 13

«Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» *(фр.)*

под машину, игравшую «Фауста», и продолжал, обращаясь к нам:

— Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха — и больше ничего…

Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она — он к ней: «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» — «Дома, дома, милости просим…» — «Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодо-

сти, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза… затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений… Было и лицо у нее редкое, — на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядись — залюбуешься: тон кожи ровный, теплый — тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, — цвет фиалковых глаз живой, полный…



Да, приглядись — залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» — увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку — и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски серьезно — и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту — и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой… Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край…

Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого

коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает наконец до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, надо заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать». — «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху!» — «Мой грех; мой грех, — отвечает носильщик, — да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый,

просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», — с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся — и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

От радости и удивления первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она — что значит, друзья мои, женщина! — даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, — говорит, — какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто

и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же… чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаком хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка… Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем», — и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.

— Ах, наглец! — воскликнул Георгий Иванович. — Обыкновенный студент?

— Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, — сказал композитор с невеселой усмешкой. — Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что

носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке, — в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, — быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» — еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду — и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться! — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. — И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно

был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня, — сказала Ида поспешно и обратилась к господину: — Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе…» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и — неожиданно изъяснилась там в любви к нему…

— То есть как в любви? — в один голос спросили мы.

Композитор, вместо ответа, опять набрал воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: «Laisse-moi, laisse-moi conlempler ton visage!»[14] — но тотчас же оборвал и, решительно подняв на

---

[14] Примечания: 14

«Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!» *(фр.)*

нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

— Да, то есть так в любви… И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но — факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их именье под Витебском… Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг — все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях… смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на

какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес:

— Да, вот что сказала она ему… А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то,

конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и исказившегося (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой,

душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала — и ушла. И тем вся эта история и кончилась… И вообще довольно об этом, — вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. — Услужающий! — закричал он на всю залу. — Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра — в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор

плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

Саша Черный
Самое страшное

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться… Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было… Однако до сих пор — а уж не такой я и трус, — чуть вспомню — по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься… и улыбнешься. Рассказать?

* * *

Был я тогда «приготовишкой», маленьким стриженым человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится… Учился в белоцерковской

гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит: «Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет…» Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас, гимназистов, и верзил и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются… Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берет, либо в лапту играют — я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела немало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали Колобок, потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой,

остерегаюсь — литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают, — и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.



И вот, на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами косой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На свое горе, я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят… А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар станционный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него — вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули — ух! — взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис… Снег мягкий, шинель толстая — ничего! И полетел вниз в полной беспечности легким перышком на ватной подкладке.

* * *

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю — некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый…

Справа девочки, слева девочки, сзади девочки… Тысячи девочек, миллионы девочек… Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается — кричит:

— Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно… Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осиного гнезда выдерусь?! Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза — острые, ехидные по всей моей восьмилетней душе ползают… Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И все ближе и ближе… Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе…

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу… Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыс-

нут все, как покатятся… Воробьи с кустов так и брызнули. А я посередине — один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Еще теснее… Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам — помучить… Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи — мышей, например, — что они с епископом Гаттоном сделали?!.

Но они ничего. Только еще ближе подобрались. Одна, постарше, наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила… Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула — всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходить начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, думаю… погибать так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-кусаться буду… И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад би-

тым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос… Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно… Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик.

— Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!

Да разве их перекричишь… Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл… Так бы я, быть может, и погиб…

Но на мое счастье, вижу, издали, словно облако, седая дама плывет — в серой шубке, на голове серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили… От реверансов снег задымился…

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

— Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе — тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не приготовишка, а «Капитанская дочка» и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно…

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает:

— Как вас зовут?

Ну, это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал:

— Шаша.

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Негромко, конечно, но все равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у приготовишки острый!) шипение слышу:

— Шашечка! Промокашечка… Таракашечка…

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.

— Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в

фуражке появляется и басит:

— Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

— Стыдитесь! Большие — маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?

— Да он сам вызвался.

— Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

— Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили… Слава Богу, не все же здесь маленькие… Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало…

Расшаркаться я даже не догадался, побежал

к парадным дверям: да и время было — колокольчик во всю глотку заливался… Кончилась, значит, большая перемена — кончились и мои мучения…

На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.

— Почему?

— Не пойду.

— Да почему же?

— Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

— Фу, козел упрямый… Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск — для нее было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

— Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.



Иван Шмелев
Из книги «Лето Господне»

Рождество

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну что же… Не поймешь чего — подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у нас повалит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах — сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях — вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит — и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай — увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса, — вот радость!..

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженые свиньи. Окорока обруб-

лены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком запорошило.

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, — «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский тетерев-глухарь… Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой… ну рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу, — и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там лошадями торговали, — стон стоит. А площадь эта… — как бы тебе сказать?.. — да попросторней будет, чем… знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту.

Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да… с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает, — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой — поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни — большие сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины… Богато жили.


Съ Рождествомъ
Христовымъ!

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горя-чи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. Стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а… тепло!..

В сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы… Стави-

ли под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то! Морозный, гулкий, — прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… гул и гул.


Съ Рождествомъ
Христовымъ.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, — Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый, — и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,

Возсия мирови Свет Разума…

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком — знакомый ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал

пальцем. Бумажный ангел. Ну карточка… осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь *туда*. Вот прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! *Он* — в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А маленький я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, ивушка? А ты зажмурься… Видишь — кормушка, с сеном, светлый-светлый мальчик,

ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот, подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? Ну конечно впустят. Скажут: ну и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну конечно рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И — на душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать,

скажет — «выкормочек мой… растешь»… Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке, оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит… Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле —

оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто… А завтра!..

А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.

— «Волхи же со Звездою питушествуют!» — весело говорит Зола.

Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет.

Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же наш.

Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое приставление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!



Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.

— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок

страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:

Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь – Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!

Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут — не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но

никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.

Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

— Береги шубы! — кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уже и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье… должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, святая, ушла. До будущего года.

Святки
Птицы Божьи

Рождество…

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне:

Христос рождается – славите!

Христос с небес – срящите! —

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.

В детстве таким явилось — и осталось.

Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы… а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.

— А где они живут? — спрашиваю я няню.

— За окнами.

За окнами… За окнами — чернота и снег.

— А почему у кормилицы сын мошенник?

— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

— А завтра они придут?

— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрып-скрып-скрып. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой,

гусем и поросенком с кашей… после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая бородка торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

— Пискун ты, Пискун… пропащая твоя головушка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.

— А Пискун кто? — спрашивал я у няни.

— Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном

хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, — он охотно дает пощупать, — стянут натуго ремешком, — «так, для тепла пристроил!» — похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».

— Какой Антон?

— А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».

Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на спокой.

Дальше — бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой — розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку

ему в кармашек.


СЪ РОЖДЕСТВОМЪ
ХРИСТОВЫМЪ

— Чего уж убиваться-то так, нехорошо… праздник такой!.. — жалеет ее кухарка. — Господь милостив, не оставит.

Мужа у ней задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:

— Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав, — а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да… Вон, руки нет, а… сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.

Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.

Все больше и больше их. Разные старички, старушки, — подходят и подходят. Заглядывает порой Василь Василич, справляется:

— Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут… десять, пятнадцать… осьмнадцать душ, так.

— Зачем — по-мер! — говорит Семен. — Его племянник в деревню выписал, трактир открыл… для порядку выписал.

Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака

не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует — «выдувает нечистого»? Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:

— Что-о, жрать пришли?! А крещение огнем примаете?.. Сказал Бог нечестивым: «Извергну нечистоту и попалю!» Вззы!.. — взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке.

Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится:

— Ох, милостивец… чегой-то скажет!..

— Не скажу! — кричит на нее монах. — Где твои пироги?

— Сейчас скажет, гляди-ка, — говорит, толкая меня, Семен.

Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим — за печку и кричит неподобным голосом:

— Будут пироги — на всех будут сапоги! Аминь.

Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушиному.

— Кури-коко тата, я сирота, я сирота!..

Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку: «С морозцу-то, Леня, промахни!» Монах и бутылку крестит. И все довольны. Слышу — шепчут между собой:

— Ласковый нонче, угощение сразу принял… К благополучию, знать. У кого не примет — то ли хозяину помереть, то ли еще чего.

— А поросятина где? — страшно кричит монах. — Я пощусь-пощусь да и отощусь! Думаете, чего… судаки ваши святей, что ли, поросятины? Одна загадка. Апостол Петр и змею, и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете — ничего и не понимаете. Бззы!..

И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками. Вбегает Василь Василич:

— Опять Леня пожаловал? Я тебе раз сказал!.. — грозит он монаху пальцем: — Духу чтоб твоего не было на дворе!..

— Я не на дворе, а на еловой коре! — крестит его монах, — а завтра буду на горе!

— Опять в «Титах» будешь, как намедни… отсидел три месяца?

— И сидел, да не поседел, а ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в кни-

гах! — ерзая, говорит монах. — Христос ныне рождается на муки… и в темницу возьмут, и на Кресте разопнут, и в третий день воскреснет!

— Что уж, Василь Василич, человека утеснять… — говорит Семен, — каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как свайщика Игната придавило, за неосторожность. Так и каждому.

— Наверх лучше не доступай! — говорит Василь Василич. — Все равно до хозяина не допущу, терпеть не может шатунов.

— Это уж как Господь дозволит, а ты против Его воли… вззы! — говорит монах. — Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок!

Василь Василич сердито машет и уходит. И все довольны.

Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица-румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. Почему она все плачет? Рассказывает — и плачет-причитает. Что у ней сын мошенник? И кто-то «пачпорта не дает», а ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют:

— Ты, Настюша, прошение строгое напиши и к губернатору самому подай… так не годится утеснять, хошь муж-раз-муж!

Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит:

— Репка, не люби крепка! Смой грехи, смой грехи!..

Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону.

— Да что ты, батюшка… да какие же я грехи?..

— У всех грехи… У кого ку-рочки, а у тебя петухи-и!..

Кормилица бледнеет. Кухарка вскрикивает — ах, батюшки! — и падает головою в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой.

— Для Христова Праздника — всем прощенье! — благословляет монах всю кухню.

И все довольны.

Скрипит промерзшая дверь, и входит человек, которого называют Подбитый Барин. Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает, и видно ситцевую под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем с порванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые прюнелевые, для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ерзают там с мороза. Барин глядит свысока на

кухню, потягивает, морщась, носом, ежится вдруг и начинает быстро крутить ладонями.

— Ввваххх… хха-хаа… — всхрипывает он, я слышу, и начинает с удушьем кашлять. — Ммарроз… ввваххх-хха-хха!..

Прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать «Стрелочка». Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза.

— Свистать-то, будто, и не годится, барин… чай, у нас образа висят! — говорит укоризненно Марьюшка.

— Птица какая прилетела… — слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина.

Он все посвистывает, но уже не «Стрелочка», а любимую мою песенку, которую играет наш органчик, — «Ехали бояре из Нова-Города». И вдруг выхватывает из пальто письмо.

— Доложите самому, что приехал с визитом… барин Эн-та-льцев! — вскрикивает он важно, с хрипом. — И желает им прочитать собственноручный стих Рождества! Собственноручно, стих… ввот! — хлопает он письмом.

Все на него смеются, и никто не идет докладывать.

— На-роды!.. — дернув плечом, уже ко мне

говорит барин и посылает воздушный поцелуй. — Скажи, дружок, таммы… что вот, барин Энтальцев приехал с поздравлением… и желает! А? Не стесняйся, милашка… скажи папá, что вот… я приехал?..



— Через махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего сроку, когда наверх позовут! — говорит ему строго кучер. — Ишь, птица какая

важная!..

— Все мы птицы небесные, создания Творца! — вскрикивает барин, крестясь на образ, — и Господь питает нас.

— Вот это вер-но, — говорят сразу несколько голосов, — все мы птицы Божьи, чего уж тут считаться!..

Приглашают за стол и барина. Он садится под образа, к монаху. Ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крякает по-утиному и начинает читать бумажку:

— Слушайте мое сочинение — стихи, на праздник Рождества Христова!

Вот настало Рождество,
Наступило торжество!
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы!

Всем очень нравится про волхвов. И монах говорит стишки. И потом опять барин, и кажется мне, что они хотят показать, кто лучше. Их все задорят:

— А ну-ка, как ты теперь?..

Наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных. Слышу, кричит отец:

— Ну, парад начинается… подходи!

Василь Василич начинает громко вызывать. Первым выходит барин. Доходит наконец и до монаха:

— Иди уж, садова голова… для-ради такого Праздника! — говорит примирительно Косой и толкает монаха в шею. — Охватывай полтинник.

— Ааа… то-то и есть. Господь-то на ум навел! — весело говорит монах.

Получив на праздник, они расходятся. До будущего года.

Ушло, прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шаром. И те же леса воздушные, в розовом инее поутру. И галочки. И снега, снега…

Обед «для разных»

Второй день Рождества, и у нас делают обед — «для разных». Приказчик Василь Василич еще в сочельник справляется, как прикажут насчет «разного обеда»:

— Летось они маленько пошумели, Подбитый Барин подрался с Полугарихой про Иерусалим… да и Пискуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придут-с, от них не отделаешься.

— Дурак приказчик виноват, первый надрызгался! — говорит отец. — Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля Божия… помни: для Праздника кормить. Из них и знаменитые есть.

— Вам — да помирать-с! — восклицает Василь Василич, стреляя косым глазом под полоток. — Кому ж уж тогда и жить-с? Да после вас и знаменитых никого не будет-с!..

— Славные помирают, а нам и Бог велел. Пушкин вон какой знаменитый был, памятник ему ставят, подряд вот взяли, места для публики…

— Один убыток-с.

— Для чести. Какой знаменитый был, а совсем, говорят, молодой помер. А мы… Так вот, сам сообразишь как-то. У меня дел по горло. Ледяной дом в Зоологическом не ладится, оттепель все была… на первый день открытие объявили, публика скандал устроит…

— В новинку дело-то. Все уже балясины отлили, и кота Ондрюшка отлил, самовар слепили и шары на крышу. Горшки цветочные только на уголки, и топку в лежанке приладить, чтобы светилось, а не таяло. Подмораживает крепко, под двадцать будет, к третьему дню поспеем. В «Листке» про

вас пропечатают…

Все у нас говорят про какой-то «ледяной дом», куда повезут нас на третий день. Скорняк Василь Василич, по прозвищу Выхухоль, у которого много книжек Морозова-Шарапова, принес отцу книжку и сказал:

— Вот, Сергей Иваныч, про замечательную историю, как человека заморозили и ледяной дом построили. В Санпитербурге было, доподлинно.

С этого и пошло.

Отец отдает распоряжения, что к обеду и кого допускать. Василь Василич загибает пальцы. Пискун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий-обжора Ломшаков, который протодьякону не удаст и едва пролезает в дверь; знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьев, — таких насви-стывает! звонарь от Казанской, Пашенька-блаженненькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок-цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушку от водянки, — тараканьими порошками поднял, а доктора не могли! — Трифоныч-Юрцов, сорок лет у нас лавку держит, — разные «потерявшие себя» люди, а были когда-то настоящие.

— Этот опять добиваться будет, «барин»-то…

особого почета требует. Прикажете допустить? — спрашивает Василь Василич.

— Господин Энтальцев? Допусти. Сам когда-то обеды задавал, стихи сочиняет. Для Горкина икемчику, и «барину» поднесешь, вот и почет ему.

— Да он этого все требует, горлышко-то с перехватцем, горькой! Прикажете купить?

— Знаю, кому с перехватцем. Довольно с вас и икемчику. Всем по трешнику, как всегда. Ну, барину дашь пятерку. Солодовкину ни-ни, обидится. За скворца не взял да еще в конверте вернул. Гордый.

Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую, рождественскую, скатерть, и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто: толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, соленые снеточки, кильки и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка шато-д-икема, для знаменитого нашего плотника — «филёнщика» — Михал Панкратыча Горкина, который только в праздники «принимает», как и

отец, и для женского пола.

Кой-кто из «разных» приходит на первый день Рождества и заночевывает: солдат Махоров, из дальней богадельни, на деревянной ноге, Пашенька-преблаженная и Полугариха. Махорова угощают водкой у себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывают к гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Ерусалим и каких она страхов навидалась.

Идут через черный ход; только скорняк Трифоныч и Солодовкин — через парадное. Барин требует, чтобы и его пустили через парадное. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Василь Василичем:

— Я Валерьян Дмитриевич Эн-та-льцев! Вот карточка…

И все попрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в прюнелевых полсапожках, дамских. На нем красная фуражка, под мышкой трость. Лицо сине-багровое, под глазами серые пузыри. Он передергивает плечами и говорит на крышу:

— О-чень странно! Меня сам Островский, Александр Николаевич, в кабинете встречает, с сигарами!.. Ччерт знает… в таком случае я не…

Василь Василич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках; лицо у него красное, веселое. Подмигивает-смеется:

— Знаменитый Махоров, со всякими крестами, и то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе — так через парадное. А вы идите тихо-благородно, усажу, где желаете… только не скандальте для праздника.

— На-ро-ды!.. — говорит барин подрагивающими губами. — Впрочем, не место красит человека… много званых, да мало избранных! Пройдем и через кухню… Передай карточку, скажи — Эн-та-льцев!

— Да вас и без карточки все знают, при себе держите, — говорит дружелюбно Василь Василич и что-то шепчет барину на ушко.

Тот шлепает его по спине и, попрыгивая, проходит кухней.

По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках «разные» и дожидаются угощения. Вот Пискун. У него такой тонкий голос, что мне все кажется, — вот-вот перервется он. На Пискуне бархатная кофта, с разными рукавами, и плисовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком: они отморожены, и вместо них — «только дырки». Должно

быть, он и голос отморозил. Рыжая бородка суется из платочка, словно она сломалась. Когда-то он пел в Большом театре, где мы недавно смотрели «Роберт и Бертрам, или Два вора», но сорвал голос, и теперь только по трактирам — «уж как веет ветерок, из трактира в погребок». Все его жалеют и говорят: «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка!» Глаза у Пискуна всегда плачут, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек.

Под образом с голубенькой лампадкой сидит знаменитый человек Махоров, выставив ногу-деревяшку, похожую на толстую бутылку или кеглю. На нем зеленоватый мундир с золотыми галунами, по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хохлом он мне напоминает нашего царя Освободителя. Он недавно был на войне добровольцем и принес нам саблю, фески и туфельки, которые пахнут туркой. Сидит он строгий и все покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам — «поцеловала пулька под Севастополем». Все его очень уважают, и я тоже, словно икона он. Отец говорит, что у него на груди «иконостас, только бы свечки ставить». С ним Полугариха, банщица знаменитая: ходила пешком в старый Ерусалим. Она очень уж

некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками; и еще кривая: «выхлестнули за веру турки». «Вот когда страху-то навидалась! — рассказывает она. — Мы-то плачем, у Гроба Господня, а они с мечами… да с бе-чами… — хлесть-хлесть! И выстегнули. И батюшка-патриарх с нами, в голос кричит, а они — хлесть-хлесть! Ждут, демоны, — не сойдет огонь с неба, — всем нам голову долой! Как пал огонь с небес, так все лампадки-свечечки и загорелись. Как мы вскричим: „Правильная наша вера!“ — а они так зубами и заскрипели. А ничего не могут, такой закон».

Рядом с ней простоволосая Пашенька-преблаженная, вся в черном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки, и стала она блаженненькой. Сидит и шепчет. А то и вскрикнет: «Соли посолоней, в гробу будешь веселей!!» Так все и испугаются. У нас боятся, как бы она чего не насказала. Сказала на именинах у Кашиных, на Александра Невского, 23 ноября: «Долги ночи — коротки дни», а Вася ихний и помер через неделю в Крыму, чахоткой! Очень высокого роста был — «долгий». Вот и вышли «коротки дни».

Еще — курчавый и желтозубый, Цыган, в поддевке и с длинной серебряной цепочкой с

полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него и все говорит — цыц! Он показывает ей серебряный крест на шее и все кланяется, — боится и он, должно быть. Трифоныч, скорняк Василь Василич, который говорит так, словно читает книжку. Потом, во весь сундук, певчий Ломшаков. Он тяжело сопит и дремлет, лицо у него огромное и желтое — от водянки. Еще, разные. Но после солдата интересней всего — Подбитый Барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и все насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и сделает так губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня — как будто гость: на нем серенький пиджачок отца, брюки навыпуск, а на шее голубенький платочек. А то всегда в поддевке.


СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ!

Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый. Все поднимаются.

— С праздником Рождества Христова, милые гости, — говорит он приветливо, — прошу откушать, будьте как дома.

Все гудят: «С Праздничком! дай вам Господь здоровьица!»

Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку икемчика. Василь Василич наливает из графинов. Барин быстро трет руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет.

— Ну а семью семь? Врешь, не тридцать семь, а… сорок семь! Гм…

Отец чокается со всеми, отпивает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василь Василича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять «торжественный стих на Рождество»:

С Рождеством вас поздравляю
И счастливым быть желаю,
Не придумаю, не знаю, —
Чем вас подарить?

Нет подарка дорогого.
Нет алмаза золотого,
Подарю я вам… два слова!
Ни-когда!
На-всегда!

— Тут шарада и каламбур! — вскрикивает он радостно, — печаль — ни-когда, а радость — на-всегда!

Всем очень нравится, — как он ловко! Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василь Василич сдерживает:

— Господин Энтальцев, не спеши… еще велик день!

Энтальцев, с селедкой в усах, подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо: «Мальчик милый, будь счастливый… за твое здоровье, а там хоть… в стойло коровье!» Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться.

Его сажают рядом с солдатом и Полугарихой, на почетном месте. Горкин садится возле Пискуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с моченными яблоками, поросенка с кашей,

драчену на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись, только певчий грызет поросячью голову и просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василь Василич просит: «Сеня, прогреми „дому сему“, утешь!» Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, — «а то не вместит». И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что, если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова! Барин целует его в «сахарные уста» и обнимает. Двое молодцов вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пискун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову свою и поет в потолок так тонко-нежно: «Близко города Славянска… наверху крутой горы…» Все в восторге и удивляются: «Откуда и голос взялся! водочка-то что делает!..» Потом они с барином поют удивительную песню —

Вот барка с хлебом пребольшая,
Кули и голуби на ней,
И рыба-ков… бо… льшая… ста-ая…
Уныло удит пескарей.

Горкин поднимает руки и кричит: «Самое наше, волжское!» И Цыган пустился: стал гейкать и так высвистывать, что Пашенька убежала, крестя нас всех. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубахе, с позументом. Горкин мне шепчет: «Помрет скоро, последний градус в чахотке… слушай, как играет!» Все затихают. И уж играл Петька-гармонист! Играл «Лучинушку»… Я вижу, как и сам он плачет, и Горкин плачет, теребя меня и все уговаривая: «Ты слушай, слушай… ро-стовское наше!..» И барин плачет, и Пискун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь: «лу-учи-и-и-нушка…», — и я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые, светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут, о чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, а они плачут! Потом барин начинает махать рукой и затягивает «Вниз по матушке по Волге». Поют хором, все, и Василь Василич, и Горкин. А окна уже синеют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит

после обеда, измерзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. Оттого, что у ней сын мошенник? Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке — высокая на ней башенка с орлом. И все вздыхает:

— Выкормышек мой, растешь…

От ее слов у меня перехватывает дыханье, и по привычке я прячу голову в ее колени, в холодную ее кофту, в стеклярусе.

Глубокий вечер. Я сижу в мастерской, пустой и гулкой. Железная печка полыхает, пыхает по стенам. Поблескивают на них пилы. Топят щепой и стружкой. Мы — скорняк, Горкин, Василь Василич и я — сидим на чурбачках, кружочком, перед печкой. Солдат храпит в уголке на стружках. С ним и Пискун улегся: не пустили его, а то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с Цыганом — куда-то покатили. А мороз за двадцать градусов: долго ли ему замерзнуть!

Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. Я знаю. Он рассказывал еще летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то, совсем молодым еще. Он любит рассказывать про это, как три года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник, украдкой, на

чердаке, чтобы подарить Глафире, а она вышла замуж за другого. Вот теперь он старый, похож на вылезшую половую щетку, а все помнит. Так Горкин и говорит ему:

— Волосы повылазили, а ты все про свой воротник! Ну-ну, рассказывай. Хорошо умеешь рассказывать.

Просит и Василь Василич, посовелый. Покачивается и все икает.

— ...И вот, вошла она, Глафира... розовая, как купидом. И я к ней пал! К ногам красавицы. И подал ей лисий воротник! Так вся и покраснела, а потом стала белая как мел. И говорит: «Ах, зачем вы... так израсходовались!» И пал я к ее ногам, как к божеству. И вот, она облила меня слезьми... и говорит как из-за могилы: «Ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я, к великому моему сожалению, обретаюсь с другим человеком, увы!» А жила она с буфетчиком. «Но неужто, говорит, вы и самделе могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу преступить?! Как, говорит, вам не совестно! Как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей!..»

И скорняк сильно покачивается. Василь Василич говорит:

— Значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой, чего теперь жалеть! Так и не взяла воротника-то?


СЪ ПРАЗДНИКОМЪ
Рождества Христова.

— Взяла. И приходит тут буфетчик, и они стали меня поить сельтерской, а то я очень страдал.

— Сельтерской… на что лучше! — говорит Василь Василич.

— …И вот выхожу я из покоев на снег… а костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных, по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот, молодой лакей подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафире? Это мне доподлинно известно. Я, говорит, сам не сплю все ночи и уж иссох». А он, правда, в злой чахотке был. «Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь к красавице, которая… невольно губит своей красотой всякого приближающегося даже при благородном своем характере!..»

Он долго рассказывает. Горкин предлагает: пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притчи премудрости скажется?.. Но никто не отзывается. От печки пышет, глаза слипаются.

— Снесу-ка я тебя, пора, намаялся… — говорит Горкин, кутает меня в тулупчик и несет сенями.

Через дверь сеней я вижу мигающие звезды, колет морозом ноздри.

Я в постельке. Все лица, лица… тянутся ко мне, одни, другие… смеются, плачут. И засыпаю с ними. Со мной как будто, — слышу я шелест сарафана, стук бусинок! — моя кормилка Настя, шепчет: «Выкормышек мой, растешь…» Почему же она все плачет?..

Где они все? Нет уж никого на свете.

А тогда, — о, как давно-давно! — в той комнатке с лежанкой, думал ли я, что все они ко мне вернутся, через много лет, из далей… совсем живые, до голосов, до вздохов, до слезинок, — и я приникну к ним и погрущу!..

Круг царя Соломона

Уехали в театр, а меня не взяли: горлышко болит, да и совсем не интересно. Я поплакал, головой в подушку. Какое-то «Убийство Каверлея», — должно быть, очень интересно, страшно. Потом погрыз орешков — ералаш: американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые… Всегда на Святках ералаш, на счастье. Каждому три горсти, — какие попадутся. Запустишь руку, поерошишь, — американских бы побольше, грецких и миндальных! А горсть-то маленькая, не захватишь, и все торопят: «Ты не выбирай!» Всегда уж:

кто побольше — тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут — Святки, а как будто будни. В зале елка, вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов… можно бы обсосать немножко, не заметят, — но там темно. Дни теперь *такие*… «Бродят *они*, как без причалу!» Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там, в зале…

Я всматриваюсь в коридор: что-то белеет… печка? Маятник стучит в передней, будто боится тоже: выходит словно — «что-то… что-то… что-то…». В кухню убежать? И в кухне тихо, куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, — будто не хохолок, а рожки?.. Дни такие, а все куда-то провалились. И лампу привернули, — будто и она боится. Солдатиков расставить? Что это… ручкой двери?.. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там ступает, храпит?.. Нет, это у меня в груди, от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то, темное лицо… — мороз?

— Ня-ня-а!.. — кричу я в страхе.

Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать. Но страшно: темно в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает: возьмут — и… Горкину в мастерской недавно… плотник

Мартын привиделся! «Им крещеный человек теперь… зарез!» Самая им теперь жара, некуда податься, Святки. К Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться…

Вдруг — тупп! Щелкнуло как в зале?.. Конфетина упала с елки… сама? Балуют…

В темном коридоре, в глубине — как будто шорох. В углу у печки — кочерга, железная нога, вдруг грохнется? Ночью недавно так… Разводы на буфете, будто лица, смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает. Все начинает шевелиться. Боммм… Часы!.. шесть, семь, восемь. А все куда-то провалились. Кот это? Идет по коридору, светится глазами. А вдруг не Васька?.. Если покрестить… Крещу, дрожа. Нет, настоящий.

— Вася-Вася… кис-кис-кис!..

Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком, — к гостям. А все куда-то провалились. И нянька дура…

Трещит на кухне дверь с морозу, кто-то говорит. Ну слава Богу. Входит нянька. На платке снежок.

— Куда ходила, провалилась?..



— Ряженых у скорняков глядела. Не боялся, а?

— Боялся. Все-то провалились…

— Не серчай уж. На сахарного петушка.

Ряженых глядела, а я сиди. Это ничего, что кашель. И в театры не взяли. Маленький я, вот все и обижают. Горкин один жалеет.

— К Горкину сведи.

— Эна, он уж давно полег. Ужинай-ка да спать.

— Няня, — прошу я, — нынче Святки… сведи уж ужинать на кухню, к людям.

Не велено на кухню, но она ведет.

На кухне весело. Бегают прусачки по печке, сидят у лампочки, — все живая тварь! Приехал из театров кучер — ужинать послали. Говорит — «народу, прямо… не подъедешь к кеятрам! Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, поотпустит, снежком запорошило». Пахнет морозом от Гаврилы и дымком с костров. Будто и театром пахнет.

— Нонче будут долго представлять. Все кучера разъехались. К одиннадцати велели подавать.

Тут и старый кучер, Антипушка, — к обедне только теперь возит. Рассказывает, как на Святках тоже в цирки возил господ, старушку чуть не задавил, такая метель была-а… праздники, понятно. И вдруг — вот радость! — входит Горкин. Василь Василичу Косому и ему — харчи особые. Но сегодня Святки, Василь Василич в Зоологическом саду, публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно, вот и пришел на кухню, к людям.

Его усаживают в угол, под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь — другой, не строгий: в ситцевой рубахе и жилетке, на шее

платочек розовый. Он сухенький, с седой бородкой, как святые. «Самый справедливый человек», но только строгий. А со мной не строгий. При нем, когда едят, не смейся. Пальцем погрозится — и затихнут. Меня усаживают рядом с ним, на хлебный закромок, повыше. Рядом со мной Антипушка. Потом Матреша, горничная, «пышка», розы на щеках. Дворник Гришка, «пустобрех-охальник». Гаврила-кучер, нянька. Старая кухарка с краю. Горкин не велит щипать Матрешу, грозится: «Беса-то не тешь за хлебцем!»

— Сама щипается, Михал Панкратыч… — жалуется Гришка. — Я как монах!

Матреша его ложкой по лбу — не ври, брехала!

Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне: огромный, все лицо закроешь.

— С хлебушка-то здоровее будешь, кушай. И зубки болеть не будут. У меня гляди какие! С хлебца да с капустки.

Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку, «от Троицы». У ней на спинке церковки с крестами, а где коковка — вырезана ручка, «трапезу благословляет», так священно. Вкусная, святая ложка. Щи со свининой — как огонь, а все хлебают. Черпают из красной чашки, несут ко рту на хлебце, чтобы не

пролить, и — в рот, с огнем-то! Жуют неспешно, чавкают так сладко. Слышно, как глотают, круто.

— Носи, не удавай! — толкает Горкин. — Щи-то со свининкой, Рождество. Вкусно, а? То-то и есть. Хлебушком-то заминай, потуже.

Отрезывает новые ломти. Выхлебали все, с подбавкой. Горкин стучит по чашке:

— Таскай свининку, по череду!

Славно, по порядку. И я таскаю. На красном деревянном блюде дымится груда красной солонины. Миска огурцов соленых, елочки на них, ледок. Жуют, похрустывают, сытно. Горкин и мне кладет: «Поешь, с жирком-то!» Я стараюсь чавкать, как и все. Огурчика бы?..

— В грудке у тебя хрипит, нельзя огурчика.

Жуют, молчат. Белая, крутая каша, с коровьим маслом. Съели. Гаврила просит подложить. Вываливают из горшка остатки.

— Здоров я на еду! — смеется кучер. — Еще бы чего съел… Матрешу разве? Али щец осталось…

— Щец вылью, доедай… хорошая погода станет, — говорит кухарка.

— А, давай. Морозно ехать.

Горкин встает и молится. И все за ним. И я. Сидят по лавкам. Покурить — уходят в сени.

— Святки нонче, погадать бы, что ли? — гово-

рит Матреша. — Что-то больно жарко…

— С жиру жарко, — смеется Гришка. — Ай в короли схлестаться? Ладно, я те нагадаю:

Гадала, гадала,
С полатей упала,
На лавку попала,
С лавки под лавку,
Под лавкой Савка,
Матреше сладко!

— Я б тебе нагадала, да забыла, как собака по Гришке выла!

— Будет вам грызться, — говорит строго Горкин. — А вот погадаю-ка я вам, с тем и зашел. Поди-ка, Матреш, в каморку ко мне… там у меня, у божницы, листок лежит. На ключик.

Матреша жмется, боится идти в пустую мастерскую: еще чего привидится.

— А ты, дурашка, сернички возьми да покрестись. Мартын-то? Это он мне так, со сна привиделся, упокойник. Ничего, иди… — говорит Горкин, а сам поталкивает меня.

Матреша идет нехотя.

— Вот у меня Оракул есть, гадать-то… — говорит Гаврила, — конторщик показать принес. Говорит

— все знает! Оракул…

Он лезет на полати и снимает пухлую трепаную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовая дама в пушистом платье и с голыми руками, перед ней золотое зеркало на столе и две свечки, а в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать — никто не знает. Написано между спицами — «Рыбы», «Рак», «Стрелец», «Весы»… Только мы двое с Горкиным грамотные, а как надо гадать — не сказано. Я читаю вслух по складам: «Любезная моя любит ли меня?», «Жениться ли мне на богатой да горбатой?», «Не страдает ли мой любезный от запоя?»… И еще, очень много.

— Глупая книжка, — говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то. Шепчет: — Что будет-то, слушь-ка… Матреша наша сейчас…

Вдруг раздается визг, в мастерской, и с криком вбегает, вся белая, Матреша.

— Матушки… черт там, черт!.. ей-ей, черт схватил, мохнатый!..

Все схватываются. Матреша качается на лавке и крестится. Горкин смеется:

— Ага, попалась в лапы!.. Во как на Святках-то в темь ходить!..

— Как повалится на меня из двери, как облапит… Не пойду, вовеки не пойду…

Горкин хихикает, такой веселый. И тут все объясняется: скрутил из тулупа мужика и поставил в двери своей каморки, чтобы напугать Матрешу, и подослал нарочно. Все довольны, смеется и Матреша.

— На то и Святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон Премудрый! Со старины так гадают. Нонче не грех гадать. И волхвы гадатели ко Христу были допущены. Так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась.

— Уж Михайла Панкратыч по-церковному знает, что можно, — говорит Антипушка.

— Не воспрещается. Царь Саул гадал. А нонче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать… в баню там ходят в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, ну и открывает судьбу. А мы, крещеные, на круг царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное.



Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок, с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучики к краям; в конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик.

— А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон… загадывай кто чего?

— Погоди, Панкратыч, — говорит Антипушка, тыча в царя Соломона пальцем. — Это и будет царь Соломон, чисто месяц?

— Самый он, священный. Мудрец из мудрецов.

— Православный, значит… русский будет?

— А то как же… Самый православный, святой. Называется царь Соломон Премудрый. В церкви читают — Соломоново чтение! Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На Матрешу. Боишься? Крестись, — строго говорит Горкин, а сам поталкивает меня. — Ну-ка, чего-то нам про тебя царь Соломон выложит?.. Ну, швыряю…

Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывается по лучику. Все наваливаются на стол.

— На пятерик упал. Сто-ой… Поглядим на задок, что написано?..

Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучики-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. Зачем?

— А ну-ка, под пятым числом… ну-ка?.. — водит Горкин пальцем, и я, грамотный, вижу, как он читает… только почему-то не под пять: — «Да не увлекает тебя негодница ресницами своими!» Ага-а… вот чего тебе… про ресницы, негодница! Про тебя сам царь Соломон выложил. Не-хо-ро-шо-о…

— Известное дело, девка вострая! — говорит Гришка.

Матреша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят: правда, сам царь Соломон, уж без ошибки.

— А ты исправься, вот тебе и будет настоящая судьба! — говорит Горкин ласково. — Дай зарок. Вот я тебе заново швырну… ну-ка?

И читает:

— «Благонравная жена приобретает славу!» Видишь? Замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще? Гриша желает…

Матреша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках.

— А ну, рабу Божию Григорию скажи, царь Соломон Премудрый…

Все взвизгивают даже, от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится.

— Семерка показана, сто-ой… — говорит Горкин и водит по строчкам пальцем. Только я вижу, что не под семеркой напечатано: «Береги себя от жены другого, ибо стези ея… к мертвецам!» — Понял премудрость Соломонову? К мертвецам!

— В самую точку выкаталось, — говорит Гаврила. — Значит, смерть тебе скоро будет, за чужую жену!

Все смотрят на Гришку задумчиво: сам царь Соломон выкатал судьбу! Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо:

— Прокинь еще, Михал Панкратыч… может, еще чего будет, повеселей.

— Шутки с тобой царь Соломон шутит? Ну, прокину еще… Думаешь царя Соломона обмануть? Это тебе не квартальный либо там хозяин. Ну, возьми, на… 23! Вот: «Язык глупого гибель для него!» Что я тебе говорил? Опять тебе все погибель.

— На смех ты мне это… За что ж мне опять погибель? — уже не своим голосом просит Гришка. — Дай-ка, я сам швырну?..

— Царю Соломону не веришь? — смеется Горкин. — Швырни, швырни. Сколько выкаталось… 13? Читать-то не умеешь… прочитаем: «Не забывай етого!» Что?! Думал, перехитришь? А он тебе — «не забывай етого!».

Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго:

— На святое слово плюешь?! Смотри, брат… Ага, с горя! Ну, Бог с тобой, последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели исправишься. Ну, десятка выкаталась: «Не уклоняйся ни направо, ни налево!» Вот дак… царь Соломон Премудрый!..

Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И

я начинаю понимать: про Гришкино пьянство это.

— Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо! — наставляет Горкин и все смеется.

Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что «кнут на коня, а палка на глупца». Потом няне. Она сердится и уходит наверх, а Горкин кричит вдогонку: «Сварливая жена как сточная труба!»

Царя Соломона не обманешь. И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку: «Не давай дремать глазам твоим».

Все смеются и тычут в слипающиеся мои глаза: вот так царь — Соломон Премудрый! Гаврила схватывается: десять било! Меня снимают с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх.

Милые Святки…

Я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, легкие, розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе. И милый Горкин, и царь Соломон — сливаются. Золотая корона, в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства…

Звонок, впросонках. Быстрые, крепкие шаги, пахнет знакомым флердоранжем, снежком,

морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет: «Спишь, капитан?» И чувствую я у щечки тонкий и сладкий запах чудесной груши, и винограда, и пробковых опилок…

Крещенье

Ни свет ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи, жарко трещат дрова, — трескучий мороз, должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся — начинают гудеть и петь. Я сижу в кроватке и смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, скачут и убегают тени и таращатся огненные маски — хитрая лисья морда и румяная харя, которую не любит Горкин. Прошли Святки, и рядиться в маски теперь грешно, а то может и прирасти, и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна. Стекла совсем замерзли, стали молочные, снег нарос, — можно соскребывать ноготком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит — сипит: «Во, прихватило-то… не дыхнешь!» Слышу — отец кричит, голос такой веселый: «Жарчей нажаривай, под тридцать градусов подкатило!» Всем весело, что такой мороз. Входит Горкин, мягко ступает в валенках, и тоже весело говорит:

— Мороз нонче… крещенский самый. А ты чего поднялся ни свет ни заря… озяб, что ль? Ну иди,

погрейся.

Он садится на чурбачок и помешивает кочережкой, чтобы ровней горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаюсь потеплей в коленки. Он запахивает меня полою. Тепло под его казакинчиком на зайце! Прошу:

— Не скажешь чего хорошенького?

— А чего те хорошенького сказать… Мороз. Бушуя уж отцепили, Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился, и ему стало невтерпеж. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский сочельник нонче, до звезды не едят. Прабабушка Устинья, бывало, маково молочко к сытовой кутье давала, а теперь новые порядки, кутьи не варим… Почему-почему… новые порядки! Рядиться-то… на Святках дозволяла, ничего. Харь этих не любила, увидит — и в печку. Отымет, бывало, у папашеньки и сожгет, а его лестовкой постегает… не погань ся, хари не нацепляй!

— А почему не погань ся?

— А, поганая потому. Глупая твоя нянька, чего купила! Погляди-ка, чья харя-то… После ее личико святой водой надо. Образ-подобие, а ты поганое нацепляешь. Лисичка ничего, Божий зверь, а эта чья образина-то, погляди!

Я оглядываюсь на маски. Харя что-то и мне не нравится — скалится и вихры торчками.

— А чья, *его*?..

— Человека такого не бывает. Личико у тебя чистое, хорошее, а ты поганую образину… тьфу!

— Знаешь что, давай мы ее сожгем… как праба-бушка Устинья?

— А куда ее беречь-то, и губища раздрыгана. Иван Богослов вон, Казанская… и *он* тут! На тот год, доживем, медвежью лучше головку купим.

Я влезаю на холодный сундук и сдергиваю харю. Что-то противно в ней, а хочется последний разок надеть и попугать Горкина, как вчера. Я нюхаю ее, прощаюсь с запахом кислоты и краски, с чем-то еще, веселым, чем пахнут Святки, и даю Горкину — на, сожги.

— А может, жалко? — говорит он и не берет. — Только не нацепляй. Ну, поглядишь когда. Вон гонители мучили святых, образины богов-идолов нацеплять велели, а кто нацепит — пропал тот человек, как идолу поклонился, от Бога отказался. И златом осыпали, и висоны сулили, и зверями травили, и огнем палили, а они славили Бога и Христа!

— Так и не нацепили?

— Не то что… а плевали на образины и топ-

тали!

— Лучше сожги… — говорю я и плюю на харю.

— А жалко-то?..

— Наплюй на него, сожги!..

Он держит харю перед огнем, и вижу я вдруг, как в пробитых косых глазах прыгают языки огня, пышет из пасти жаром. Горкин плюет на харю и швыряет ее в огонь. Но она и там скалится, дуется пузырями, злится… что-то течет с нее, и вдруг вспыхивает зеленым пламенем.

— Ишь зашипел-то как… — тихо говорит Горкин, и мы оба плюем в огонь.

А харя уже дрожит, чернеет, бегают по ней искорки… вот уже золотится пеплом, но еще видно дырья от глаз и пасти, огненные на сером пепле.

— Это ты хорошо, милок, соблазну не покорился, не пожалел, — говорит Горкин и бьет кочережкой пепел. — «Во Христа крестится, во Христа облекостеся», поют. Значит, Господен лик носим, а не *его*. А теперь Крещенье-Богоявленье, завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет, Животворящий Крест погружать в ердани, пушки будут палить. А кто и окунаться будет, под лед. И я буду, каждый год в ердани окунаюсь. Мало что мороз, а душе радость. В Ерусалиме Домна Панферовна вон была, в живой Ердани погружалась,

во святой реке… вода тоже сту-у-деная, говорит.

— А Мартын-плотник вот застудился в ердани и помер?

— С ердани не помрешь, здоровье она дает. Мартын от задора помер. Вон уж и светать стало, окошечки засинелись, печки поглядеть надо, пусти-ка…

— Нет, ты скажи… от какого задора помер?..

— Ну прилип… Через немца помер. Ну, немец в Москве есть, у Гопера на заводе, весь год купается, ему купальню и на зиму не разбирают. Ну, прознал, что на Крещенье в ердань погружаются, в проруби, и повадился приезжать. Перво-то его пустили в ердань полезть… может, в нашу веру перейдет! Он во Христа признает, а не по-нашему, полувер он. Всех и пересидел. На другой год уж тягаться давай, пятерку сулил, кто пересидит. Наша ердань-то, мы ее на реке-то ставим, папашенька и говорит — в ердани не дозволю тягаться, крест погружают, а желаете на портомойне, там и теплушка есть. С того и пошло. Мартын и взялся пересидеть, для веры, а не из корысти там! Ну и заморозил его немец, пересидел, с того Мартын и помер. Потом Василь Василич наш, задорный тоже, три года брался, — и его немец пересидел. Да како дело-то, и звать-то немца — папашенька

его знает — Ледовик Карлыч!


Мороз не велик, да стоять не велит!

— А почему Ледовик?

— Звание такое, все так и называют Ледовик. Какой ни есть мороз, ему все нипочем. И влезет, и вылезет — все красный, кровь такая, горячая. Тяжелый, сала накопил. Наш Василь Василич тоже ничего, тяжелый, а вылезет — синь-синий! Три года и добивается одолеть. Завтра опять полезет. Беспременно, говорит, нонче пересижу костяшек на сорок. А вот… Немец конторщика привозит, глядеть на часы по стрелке, а мы Пашку со счетами сажаем, пронизи-костяшки отбивает. На одно выходит, Пашка уж приноровился, в одну минутку шестьдесят костяшек тютелька в тютельку отчикнет. А что лишку пересидят, немец сверх пятерки поход дает, за каждую костяшку гривенник. Василь Василич из задора, понятно, не из корысти… ему папашенька награду посулил за одоление. Задорщик первый папашенька, летось и сам брался — насилу отмотался. А Василь Василич чего-то надумал нонче, ходит-пощелкивает: «Нонче Ледовика за сорок костяшек загоню!» Чего-то исхитряется. Ну, печки пойду глядеть.

Он приходит, когда я совсем одет. В комнате полный свет. На стеклах снежок оттаял, елочки ледяные видно, — искрятся розовым, потом загораются огнем и блещут. За Барминихиным садом

в снежном тумане-инее громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу, и весело мне смотреть, как стоит он в окне на печке — в огненном отражении от солнца.

Мороз, говорят, поотпускает. Я сколупываю со стекол льдинки. Все запушило инеем. Бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и гвозди, петли творил, и скобы кажутся мне из снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко — и снежная ветка на скворешне, и даже паутинка в дыре сарая — будто из снежных ниток.

Невысокое солнце светит на лесенку амбара, по которой взбегают плотники. Вытаскивают «ердань» — балясины и шатер с крестами, — и валят в сани, везти на Москва-реку. Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, сдирают с усов сосульки. И через стекла слышно, как хлопают гулко доски, скрипит снежком. Из конюшни клубится пар, — Антипушка ведет на цепи Бушуя. Василь Василич бегает налегке, даже без варежек, — мороза не боится! Лицо, как огонь, — кровь такая, горячая. Может быть, исхитрится завтра, одолеет Ледовика?..

В доме курят «монашками», для духа: сочель-

ник, а все поросенком пахнет. В передней — граненый кувшин, крещенский: пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, — чистая, как слеза! Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой: будет гореть у святой купели, и ее принесут домой. Свечка эта — крещенская. Горкин зовет — «отходная».

Я бегу в мастерскую, в сенях мороз. Облизываю палец, трогаю скобу у двери — прилипает. Если поцеловать скобу — с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба прозрачная, алая-живая, как вишенка на солнце. Горкин прибирается в каморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на которой вылито Богоявленье с голубком и «светом». Отказала ему ее прабабушка Устинья, и такой не найти нигде. Он рассказывает, как торговал у него ее какой-то барин, давал двести рублей «за стеклышко», говорил — поставлю в шкафчик для удовольствия. А сосудик старинный это, когда царь-антихрист старую веру гнал, от дедов прабабушки Устиньи. И не продал Горкин, сказал: «И тыщи, сударь, выкладите, а не могу, сосудец святой, отказанный… верному человеку передам, а вас, уж не обижайтесь, не знаю… в шкапчик, может, поставите, будете угощать гостей». А барин обнял его и поцеловал и пошел

веселый. Театры в Москве держал.

— Крещенской водицы возьмем в сосудик. Будешь хороший — тебе откажу по смерти. Есть племянник, яблоками торгует, да в солдатах испортился, не молельщик. Прошлогоднюю свечку у образов истеплим, а эту, новенькую, с серебрецом лоскутик, освятим, и будет она тут вот стоять, гляди… у Михаил-Архангела, ангела моего. Заболею, станут меня, сподобит Господь, соборовать… в руку ее мне, на исход души… Да, может, и поживу еще, не расстраивайся, косатик. Каждому приходит час последний. А враз ежели заболею, памяти решусь, ты и попомни. Папашеньку просил, и тебе на случай говорю… крещенскую мне свечку в руку, чтобы зажали, подержали… и отойду с ней, крещеная душа. *Они* при отходе-то подступают, а свет крещенский и оборонит, отцами указано. Вон у меня картинка «Исход души»… со свечкой лежит, а *они* эн где топчутся, как закривились-то!..

Я смотрю на страшную картинку, на *синих*, сбившихся у порога и чего-то страшащихся, смотрю на свечку с серебрецом, — и так мне горько!

— Горкин, милый… — говорю я, — не окунайся завтра, мороз трескучий…

— Да я с того веселей стану… душе укрепление,

голубок!

Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: «Крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

— Как снежок будь чистый, как ледок крепкой, — говорит он, утирая суровым полотенцем, — темное совлекается, в светлое облекается… — дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей.

Потом кутает потеплей и ведет ставить крестики во дворе, «крестить». На Великую пятницу ставят кресты «страстной» свечкой, а на Крещенье мелком — снежком. Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит — на тепло пойдет, примета такая — лошадки ложились ночью, а Кривая насилу поднялась, старая кровь, не греет.

Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот — забелелась звездочка! Горкин рад: хочется ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогожке стоит петух, гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорнячихи две курицы

замерзли ночью.

— Пойдем в коморку ко мне, — манит Горкин, словно хочет что показать, — сытовой кутьицей разговеемся. Макова молочка-то нету, а пшеничку-то я сварил.

Кутья у него священная, пахнет как будто ладанцем, от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, — затягивает ледком.

После всенощной отец из кабинета кричит: «Косого ко мне!» Спрашивает — ердань готова? Готова, и ящик подшили, окунаться. Василь Василич говорит громко и зачем-то пихает притолоку. «Что-то ты, Косой, весел сегодня больно!» — усмешливо говорит отец, а Косой отвечает: «И никак нет-с, пощусь!» Борода у него всклочена, лицо, как огонь, — кровь такая, горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает.

— А как, справлялся, будет Ледовик Карлыч завтра?

— Готовится-с!... — вскрикивает Василь Василич. — Конторщик его уж прибегал... приедет беспременно! Будь-п-кой-ны-с, во как пересижу-с!..

И опять — шлеп об притолоку.

— Не хвались, идучи на рать, а хвались…

— Бо-жже сохрани!.. — всплескивает Косой, словно хватает моль, — в таком деле… Бо-жже сохрани! Загодя молчу, а… закупаю Ледовика, как су… Сколько дознавал-бился… как говорится, с гуся вода-с… и больше ничего-с.

— Что такое?.. Ну, ежели ты и завтра будешь такой…

— Завтра я его за… за сорок костяшек загоню-с! Вот святая икона, и сочельник нонче у нас… з-загоню, как су…

— Хорошо сочельничаешь… ступай!

Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит:

— Мороз веселит-с!.. И разрази меня Бог, ежели каплю завтра!.. Завтра, будь-п-койны-с!.. публику с гор катать, день гулящий… з-загоню!..

Отец сердито машет. Косой пожимает плечами и уходит.

— Пьяница, мошенник. Нечего его пускать срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в Зоологическом на горах… да куда тебя посылать, купаться полезешь завтра… сам поеду.

Впервые везут меня на ердань, смотреть. Потеплело, морозу только пятнадцать градусов.

Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С Каменного моста видно на снегу черную толпу, против Тайницкой башни. Отец спрашивает — хороша ердань наша? Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней — прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены, розовато-седой с морозу, несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит — и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев — митры. Долго выходят из-под Кремля священники, светлой лентой, и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что у ердани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят — «погружают крест!». Слышу знакомое — «Во Иорда-а-не… крещающуся Тебе, Господи-и…», и вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, гляди, палят!» — и указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии… и — ба-бах!.. И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены. Стреляют долго.

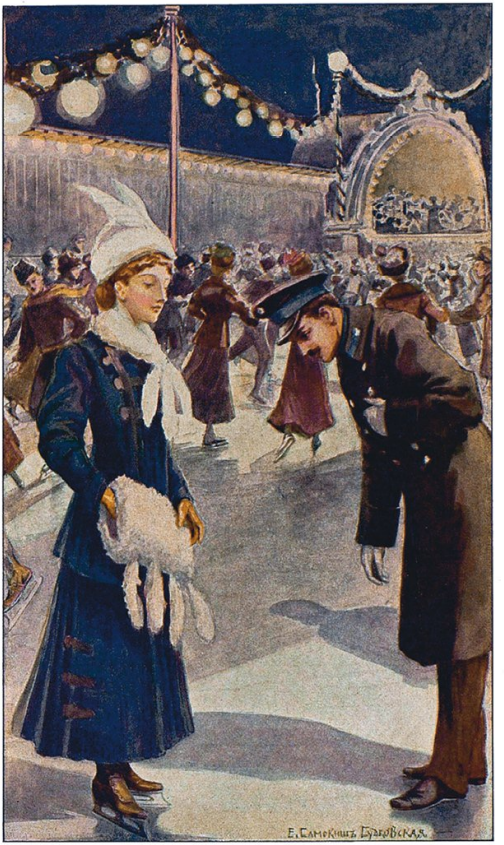
Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок: это теплушка наша, совсем около ердани. И я вижу такое странное… бегут голые по соломке! Узнаю Горкина, с простынькой, Федю-бараночника, потом Павел Ермолаич, огородник, хромой старичок какой-то и еще незнакомые… Отец тащит меня к ердани. Горкин, худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать, прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает и окунается и опять… а за ним еще, с уханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом, другие плотники тащат Горкина из воды, Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился, — весело говорит отец. — Трите его суконкой, да покрепче! — кричит он в окошечко теплушки. — Идем на портомойню скорей, Косой там наш дурака валяет».

Портомойня недалеко. Это плоты во льду, лед между ними вырублен, и стоит на плотах теплушка. Говорят — Ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василь Василич. Толстый и есть самый Ледовик Карлыч, немец. Лицо у него нестрашное, борода рыжая, как и у нашего Косого. Пашка несет столик со счетами

на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой, — может быть, исхитряется? Ледовик спрашивает: «Котофф?» Косой говорит: «Готов-с», вылезает из-под рогожи и прикрывается. И он толстый, как Ледовик, только живот потоньше, и тоже, как Ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно-строго: «А-а… ти такой?!» А Василь Василич ему смеется: «Такой же, Ледовик Карлыч, как и вы-с!» И Ледовик смеется и говорит: «Лядно, карашо». Тут подходит к отцу высокий, худой мужик в рваном полушубке и говорит: «Дозвольте потягаться, как я солдат… на Балканах вымерз, это мне за привычку… без места хожу, может, чего добуду?» Отец говорит — валяй. Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком, один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит: «Раз, два, три… вали!» Прыгают трое враз. Я слышу, как Василь Василич перекрестился — крикнул: «Господи, благослови!» Пашка начал пощелкивать на счетах — раз, два, три… На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит: «Ф-ух, ха-ра-шо… песочек…» Ледовик тоже говорит: «Ф-о-шень карашо… сфешо». А солдат

барахтается, хрипит: «Больно тепла вода, пустите маненько похолодней!» Все смеются. Отец подбадривает: «Держись, Василья, не удавай!» А Косой весело: «В пу… пуху сижу!» Ледовика немцы его подбадривают, лопочут, народ на плоты ломится, будочник прибежал, все ахают, понукают: «Ну-ка, кто кого?» Пашка отщелкивает: «Сорок одна, сорок две…» А они крякают и надувают щеки. У Косого волосы уж стеклянные, торчками. Слышится — ффу-у… у-ффу-у… «Что, Вася, — спрашивает отец, — вылезай лучше от греха, губы уж прыгают?» — «Будь-п-кой-ны-с, — хрипит Косой, — жгет даже, чисто на по… полке па… пшарюсь…» А глаз выпучен на меня, и страшный. Солдат барахтается, будто полощет там, дрожит синими губами, сипит: «Го… готовьте… деньги… ффу… немец-то по… синел…» А Пашка выщелкивает: «Сто пятнадцать, сто шишнадцать…» Кричат: «Немец посинел!» А немец руку высунул и хрипит: «Таскайте… тофольно ко-коледно…» Его выхватывают и тащат. Спина у него синяя, в полосках. А Пашка себе почокивает: «Сто шишдесят одна…» На ста пятидесяти семи вытащили Ледовика, а солдат с Косым крякают. Отец уж топает и кричит: «Сукин ты кот, говорю тебе, вылезай!..» — «Не-эт… до-дорвался… досижу до

сорока костяшек…» Выволокли солдата, синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит: «Сто девяносто восемь…» Тут уж выхватили и Василь Василича. А он отпихнулся и крякает: «Не махонький, сам могу…» И полез на карачках в дверку.


Е. Самокишъ Будзовская.

Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы — поглядеть, как там Василь Василич. Горкин напился малинки и лежит укутанный, под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь во Иордане. Прочитал — он и говорит:

— Хорошо мне, косатик… будто и я со Христом крестился, все жилки разымаются. Выростешь, тоже в ердани окунайся.

Я обещаю окунаться. Спрашиваю, как Василь Василич исхитрился, что-то про гусиное сало говорили.

— Да вот, у лакея немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным! А гусиным уши натри — нипочем не отморозишь. Верней свиного и оказалось. А солдат телом вытерпел, папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочкой своей отогрелся, Господь простит… в Зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть жива повезли. Хитрость-то на него же и оборотилась.

Приходит скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василь Василича и привозят. Начудил на горах, два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове

с горы съехал, папашенька его домой прогнали. Василь Василича укладывают на стружки, к печке, — зазяб дорогой. Он что-то мычит, слышно только: «Одо… лел…» Лицо у него малиновое. Горкин ему строго говорит: «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих, уснул.

Скорняк читает про Пантелеймона:

«И повелел гордый скиптром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока опалять свещами горящими… святый же воззва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную…»


Съ Рождествомъ
Христовымъ!

По разогревшемуся лицу Горкина текут слезы. Он крестится и шепчет:

— Ах, хорошо-то как, милые… чистота-то, духовная высота кокая! А тот тиран — хи-трость, говорит!..

Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечой «на исход души», а на пороге толпятся *синие*, — и кажется мне, что это отходит Горкин, похоже очень. Горкин спрашивает:

— Ты чего, испугался… глядишь-то так?

Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то… кроме всего, что здесь, — нашего двора, отца, Горкина, мастерской… и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще, невидимое, которое где-то *там*… Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с Богоявлением и думаю: откажет мне…

И вдруг, видя в себе, как будет, кричу к картинке:

— Не надо!.. не надо мне!!.

